



3 1761 08821271 7


ИВ. БУНИНЪ.

# КРИКЪ

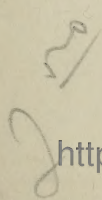
РАЗСКАЗЫ







Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
University of Toronto

 <http://www.archive.org/details/krikrazskazy00buni>









LR  
B9423 кГ

Bunin, Ivan Alekseevich

( И. Бунинъ )

# КРИКЪ [Розсказъ]

---

Krik



519768

22. 3. 51

1 9 2 1

---

Книгоиздательство «Слово»

[Берлинъ]





Copyright by Slowo-Verlag, Danzig

Всѣ права, въ томъ числѣ право перевода на  
другіе языки, принадлежатъ Изд. «Слово»



## Содержаніе

Предисловіе . . . . .	7
Крикъ . . . . .	9
Смерть . . . . .	19
Игнатъ . . . . .	33
Сила . . . . .	77
Хорошая жизнь . . . . .	95
Захаръ Воробьевъ . . . . .	131
Древній человѣкъ . . . . .	153
Ночной разговоръ . . . . .	171
Сверчокъ . . . . .	203
Веселый дворъ . . . . .	221

---



И эта книга создавалась во мне,  
счастливые дни, во дни, когда не  
только была родина, но и весь мир  
был родной и близок, во дни, полные  
надежды, сил, замыслов, во дни  
неустанный скитаний и ненасытного  
восприятия...

Много сердца отдал я тогда и  
России, сильно страдая за судьбу  
ея. Какое же было, недовольство на  
моя "Григорий, Эсфокид, неправопо-  
добный" краски, - светлые, добрые  
не хотеть видеть, - в своем на-  
мечено...

Увы, теперь мне уже нелегко на-  
прямую оправдываться.

Париж,

Ив. Бутин.

17/30 янв. 1921 г.





# КРИКЪ



Однажды ранней весной шли мы въ Батумъ изъ Портъ-Саида.

Въ Стамбулѣ была чума, дѣла нашъ грузовикъ тамъ не имѣлъ; мы рѣшили миновать Золотой Рогъ, а разсвѣта дождаться въ Ковакахъ, у входа въ Черное море: ночью изъ Босфора не выпускаютъ. И вотъ отправили съ нами изъ Дарданеллъ двухъ турокъ, двухъ карантинныхъ стражей, дабы они удостовѣрили, придя въ Коваки, что остановки на Золотомъ Рогѣ не дѣлалось.

Снялись мы изъ Дарданеллъ часа въ четыре. Въ пять матросы обѣдаютъ. Передъ обѣдомъ полагается имъ по манеркѣ спирту. Но былъ чистый четвергъ, нѣкоторые сочли за грѣхъ пить въ такой день. А чтобы спиртъ не пропадалъ даромъ, поднесли — для потѣхи — туркамъ. Спиртъ свалилъ ихъ, непривычныхъ къ вину, съ ногъ, и они заснули: одинъ, рослый, дюжій, — на кормѣ, надъ самымъ винтомъ, другой, маленькій, — на крышкѣ трюма между кормой и машинной частью. И передъ тѣмъ, какъ заснуть, этотъ маленькій долго бормоталъ и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Руссь—карашо, арабъ—нѣтъ карашо!

Онъ рассказывалъ, что у него, человека про-

стого и бѣднаго, жена была такая красавица, что онъ даже по имени не звалъ ее никогда, а говорилъ: „джанымъ, сердце мое“, что она уже давно умерла, родивъ ему сына, что и сынъ его былъ красивъ, нѣженъ и почителенъ, какъ дѣвушка, да увезли его въ Стамбулъ, отправили на войну, въ Аравію. А ужъ изъ Аравіи не вернешься, нѣтъ!—говорилъ онъ. И, вскакивая, громко вскрикивалъ, какъ бы стрѣляя изъ карабина, падалъ на спину, изображая убитаго наповаль, и задиралъ свои кривыя ноги въ шерстяныхъ полосатыхъ чулкахъ. Штаны его, очень узкіе книзу, были въ заплаткахъ, мундиръ коротенькій, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородокъ давно не бритъ, спаленное зноемъ и вѣтромъ лицо все въ морщинахъ. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что дѣлаетъ!

Много разъ видѣлъ я Босфоръ. Но можно ли на него наглядѣться? Вечеромъ я легъ спать и приказалъ разбудить себя, лишь только откроется маякъ. Около двухъ часовъ ночи вѣстовой постучалъ въ дверь моей каюты и негромко сказалъ:

— Подходимъ къ Сералю.

Я отозвался:

— Есть. Очень холодно?

— Три градуса.

— Туманъ?

— Чисто.

Я въ темнотѣ нашелъ пальто, шапку и вышелъ. Въ каютъ-компаніи тускло и печально горѣлъ одинъ рожокъ. Легкій свѣжій бризъ дулъ въ открытую дверь, за которой синѣла лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистыя вѣточки карлико-



вой японской пальмы, стоявшей въ горшкѣ у камина. Среди тишины, царившей всюду, выдѣлялись только этотъ шелестъ да медленное постукиваніе стѣнныхъ часовъ. А чуть слышный звонъ рюмокъ, которыми увѣшанъ потолокъ въ буфетѣ, и та слабая дрожь, которой дрожить весь пароходъ отъ машины, работающей въ глубинѣ его глухо и мѣрно, какъ огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышелъ на лѣвый бортъ — и заглядѣлся на приближающійся Стамбулъ, на рѣдкіе ночные огни его, матово блестящіе за блѣлымъ тонкимъ паромъ, на его призракъ, фантастическій и величавый, таинственно-блѣдный на синевѣ лунной ночи.

Потомъ я поднялся на капитанскій мостикъ. Глядя впередъ, за фокъ-мачту, дежурили у телеграфа капитанъ и вахтенный помощникъ, въ шапкахъ, въ теплыхъ курткахъ. Они не обернулись, когда я сталъ за ними, возлѣ штурманской рубки, гдѣ, въ сумракѣ, держась за рога рулевого колеса и не спуская глазъ съ компаса, освѣщеннаго низко спущенной электрической лампочкой подъ колпакомъ, каменѣлъ рулевой матросъ. Они, тоже завороченные ночью и Стамбуломъ, роняли слова команды точно, но медленно, вполголоса.

— Пять градусовъ лѣво, — безстрастно, не обращиваясь, говорилъ капитанъ.

— Есть пять градусовъ лѣво, — протяжнымъ сильнымъ альтомъ отзывался рулевой.

Но отзывался онъ тоже безстрастно, словно соння, въ ладъ полнотной тишинѣ. Мѣрно, медленно отдавались изъ глубины вздохи машины, и медленно шло и развертывалось передъ нами сказочное царство великаго города.

— Такъ держать,—просто и осторожно говорилъ капитанъ.

— Та-акъ держа-ать! — на четыре тона выше брала рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоитъ справа, почти свади нась, надъ туманными силуэтами Принцевыхъ острововъ. Огромная золотая полоса продольно блещетъ между ними, подъ той тѣнью, что всегда лежитъ по горизонту за луннымъ блескомъ. Блескъ зеленоватаго стекла возникаетъ и гаснетъ, переливается по валамъ тяжелаго шагреневаго масла возлѣ самага борта. Но все въ отдаленіи, — и холмистыя побережья, и Золотой Рогъ, медленно раскрывающійся передъ нами, и блѣдные призраки Скутари, Стамбула, Галаты, Перы, — все подернуто матово-бѣлесою чадрой, нѣжной, прозрачной, какъ драгоценныя брусскіе газы. И за этой чадрой, какъ несмѣтные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещутъ несмѣтные, далекіе и близкіе огни: золотые, мелкіе — густо насыпанные среди темныхъ садовъ на скутарійскомъ берегу; роями усьявшіе съ верху до низу гору въ Галатѣ; изумрудные и рубиновые, крупныя — на мачтахъ въ Золотомъ Рогѣ, на буяхъ, сторожевыхъ лодкахъ, длинно отражающіеся въ зеркальной водѣ; рѣдкіе и сонныя — въ Стамбулѣ, сиящемъ съ открытыми блестящими глазами на своихъ холмахъ противъ луны. Я различалъ каменные и деревянные дома его предмѣстій, легкіе, бесконечно-высокіе минареты вокругъ чашеобразныхъ куполовъ бѣлой Ахмедіе, древній, дорогой мнѣ куполь Софіи, сады Сералия и сѣрую стѣну дворца Константина. Я опять обонялъ этотъ особый, сладкій и сухой

аромать береговъ Турціи... Вдругъ откуда-то издалека пронесся въ тишинѣ чей-то слабый рыдающій зовъ:

— Юсу-уфъ! — крикнулъ кто-то.

И оборвалъ, точно захлебнувшись слезами.

Все ближе роились огненные пчелы по горѣ Галаты. Мы шли, а мимо насъ несло назадъ красные фонарики на сторожевыхъ лодкахъ. Я подумалъ: это, вѣрно, кто-нибудь на сторожевой лодкѣ крикнулъ; можетъ-быть, это убійство и вопль о пощадѣ; можетъ-быть, контрабандиста-грека поймали; но что мнѣ до того?

Вотъ опять негромкая команда и альти рулевого. Луна мѣняетъ мѣсто, надвигается справа скутарійскій берегъ — далеко по зеркальной водѣ легла тѣнь его. Уже прошла гора Перы и Галаты, сплошь залитая каменнымъ городомъ, окутанная прозрачно-бѣлымъ покровомъ. Далеко остались два сонныхъ сквозныхъ изумруда, низко, одинъ надъ другимъ повисшихъ надъ водою, тамъ, гдѣ торчитъ изъ воды бѣлая башенка Леандра. Носъ парохода медленно поворачиваетъ, — закрывается выходъ въ Мраморное море, блещущій, какъ стеклянно-золотое поле, возлѣ Серальскаго мыса. Это поле меркнетъ; раздается короткій хрустальный звонъ телеграфа: мы все круче забираемъ вправо. Теперь уже нигдѣ нѣтъ блеска, Босфоръ сузился. Бѣломраморные султанскіе дворцы тянутся по лѣвому побережью, купая въ водѣ широкія ступени своихъ мраморныхъ пристаней. Тѣнь достигаетъ и до нихъ; зеленовато-блѣденъ въ тѣни мраморъ...

— Юсуфъ! — опять долетаетъ откуда-то издалека.

Я удивленно поднимаю брови, прислушиваюсь... И опять забываю объ этомъ воплѣ.

Отъ тѣни ярче и зеленѣе кажется холодная весенняя ночь, зеркальнѣе луна. Чище, синѣе стало звѣздное небо. Порою вершины малоазійскаго берега, по низамъ покрытаго вилами, садами и рощами, отдаляются. Впереди я вижу высокій круглый холмъ. Какъ мягко и отчетливо выдѣляется онъ на свѣтломъ небѣ! Какъ спокойны и легки очертанія нѣсколькихъ итальянскихъ пиній, вѣнчающихъ его темя, ихъ короткіе стволы и темные зонты! А вотъ большая сѣдловина между горами — и луна, стоящая за нею, чуть блѣднѣетъ; сквозятъ голыя весеннія рощи, серебрится подъ луною прозрачная дымка въ нихъ. Но закрывается и сѣдловина, — идемъ подъ темнымъ склономъ въ густыхъ садахъ, гдѣ надъ черепичными крышами высятся черныя кипарисы. Первый робкій соловей звучно и сладко окликнулъ сады — и затихъ... Весеннимъ холодомъ земли и ароматомъ прошлогодней листвы тянетъ съ берега...

— Юсуфъ! — страстно, захлебываясь слезами, кличетъ голосъ съ кормы. — Юсу-уфъ!

Спустившись съ рубки, я быстро пошелъ туда. Сбѣжалъ по трапу со спардэка, прошелъ вовлѣ мѣрно и глубоко вздыхающей машины, обдавшей меня своимъ тепломъ и запахомъ разогрѣтаго масла... Опять луна перемѣнила мѣсто. Она далеко за кормою, надъ золотымъ огромнымъ озеромъ, которыми сталъ теперь Босфоръ среди сомкнувшихся береговъ... И еще разъ сбѣжавъ, увидѣлъ я черную фигурку, на колѣняхъ, спиной ко мнѣ стоящую на крышкѣ трюма. Она садилась порою на ноги, на пятки, какъ дѣлаютъ это во время молитвы, порывисто приподнималась, что-то искала въ рогожкѣ, служившей ей вмѣсто коврика, и опять откидыва-



лась назадъ и, воздѣвая руки, страстно, кратко, съ несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уфъ!...

И я все понялъ.

Онъ, этотъ маленькій турокъ, заснулъ, набормотавшись, напѣвшись спяну греческихъ пѣсенъ. Онъ проспалъ все Мраморное море. И вдругъ очнулся возлѣ самаго Стамбула, отнявшаго у него сына... Онъ покорно, какъ истый муслимъ, принялъ и затаилъ въ сердцѣ свое горе. Никто не замѣтилъ слѣдовъ скорби въ его равнодушныхъ морщинахъ, въ безстрастно поднятыхъ бровяхъ и висячихъ усахъ. Да и слишкомъ тупо ныла эта скорбь въ его сердцѣ. Но вотъ случилось нѣчто необычное: путешествіе въ Коваки, чужая палуба, чужіе люди, начавшіе его угощать сѣрымъ, мелкимъ, ѣдкимъ табакомъ и огненной водкой. Сведенный ею съ ума, чувствуя, что онъ плыветъ въ городъ самого падишаха, сталъ онъ съ болѣзненнымъ восхищеніемъ вспоминать, какъ увозили туда его сына, представлять себѣ съ непонятнымъ восторгомъ, какъ убили его въ Аравіи. И свалился наконецъ — потерялъ сознаніе и спалъ долго, долго... И вдругъ очнулся. Что-то тяжело томило его въ пьяномъ тяжкомъ снѣ. Когда же открылись его глаза, почувствовалъ онъ позднюю ночь по той тишинѣ, которая окружала его, увидалъ величавый и фантастическій въ лунномъ свѣтѣ призракъ Стамбула — и внезапно, всѣмъ существомъ своимъ, можетъ-быть, впервые постигъ всю глубину того, что сдѣлалъ Стамбулъ съ его никому не нужной, жалкой жизнью и съ прекрасной молодостью Юсуфа. Вѣдь это о немъ, о сынѣ, рассказывалъ онъ хохотавшимъ русскимъ собакамъ! — И, поднявшись, съ

ужасомъ почувствовалъ, что онъ пьянъ, страшно пьянъ, отравленъ и несчастенъ...

Я подошелъ къ нему. Онъ повернулъ ко мнѣ блѣдное въ лунномъ свѣтѣ, все мокрое отъ слезъ, съ мокрыми висячими усами лицо, выпучилъ на меня свои бараньи, остеклянѣвшіе отъ яда, отъ рыданій и натуги глаза... Зачѣмъ подъ нимъ эта скомканная рогожка? Можетъ-быть, онъ вспомнилъ еще и то, что проспалъ вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, разстилать эту рогожку... Но до молитвы ли? Все мѣшается въ его мозгу, онъ чувствуетъ только одно — ужасъ и тоску. И вдругъ начинаетъ кричать Стамбулу, лунной ночи, что онъ одинъ и погибаетъ. Нѣтъ, этого не можетъ быть! Сынъ живъ, онъ долженъ быть живъ, онъ долженъ вернуться! Сынъ долженъ вернуться еще и потому, что его, нищаго, одинокаго старика, опозорили, отравили... И, рыдая, безумѣя отъ ужаса и горя, онъ сталъ кричать дико, захлебываясь слезами.

Я взялъ его ледяную руку. Онъ отшатнулся и вырвалъ ее. Онъ, какъ звѣрь, кинулся на рогожку, сталъ судорожно комкать ее, стараясь разстелить передъ собою... И опять, не славивъ съ хмелемъ и горемъ, тяжело упалъ задомъ на пятки. Неудержимо катившіяся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморкъ ватыкалъ дыханіе, мокрые усы лѣзли въ ротъ.

— Юсуфъ! — крикнулъ онъ тупо и кратко, какъ человѣкъ, вынырнувшій изъ воды.

И завопилъ, затряспись отъ рыданій, захлебываясь и простирая руки къ Стамбулу:

— Юсуфъ! Юсу-уфъ!..

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

# С М Е Р Т Ъ





Во имя Бога милостиваго, милосердаго.

Вотъ разсказъ о смерти пророка, — миръ ему! — дабы утвердились сомнѣвающіеся въ необходимости покоряться Вожатому.

„Мы не видѣли и не видимъ Его“, говорятъ они. Но солнце не виновато, что глазамъ летучей мыши не дано зрѣнія. Сердце человѣка ищетъ вѣры и защиты. Кто же прибѣгаетъ къ защитѣ совы? Лучше мечтать о снѣи феникса, хотя бы фениксъ и не существовалъ въ мірѣ. Снѣи же Творца существуетъ отъ вѣка.

Черноухъ слѣдуетъ за львомъ: левъ знаетъ, гдѣ добыча, а черноухъ питается остатками его трапезы. Такъ шли евреи за пророкомъ изъ Египта. По милости Божіей, онъ совершилъ подвигъ.

Онъ испыталъ сладость сна, пробужденія и ласки въ дѣтствѣ. Царская дочь качала его на своихъ темныхъ и круглыхъ рукахъ, гладкихъ, какъ змѣя, но теплыхъ, какъ плодъ на солнцѣ. Она радостно и пристально смотрѣла на него черными глазами, сіявшими надъ нимъ, и порывисто цѣловала, прижимая къ холоднымъ грудямъ; она притворно душила его, какъ дѣлаютъ это всѣ дѣвушки. Вспоминая подобное, не одинъ восклицаетъ въ сердцѣ:

„Зачѣмъ не юношей былъ я тогда!“ Но всему свое время.

Фараонъ далъ ему перстень власти и одежды царедворца. Когда утренняя свѣжесть смѣняется тепломъ солнца, когда на базарѣ поливають укропъ, чтобы привлечь обоняніе покупателя, когда пахнетъ кизякомъ изъ трубъ и туманомъ съ большой рѣки, по которой медленно, въ пару, идутъ высокіе бѣлые паруса, а рѣдкобородый буйволъ, сизый и шершавый, какъ свинья, тупо глядитъ на нихъ, поднимаясь изъ прибрежнаго ила, — пророкъ, чувствуя силы и бодрость, ѣхалъ въ колесницѣ надзирать за полевыми работами и могъ по головѣ стегать бичомъ лѣнливыхъ, кричать на нихъ до красноты лица, чтобы сладко, въ сознаніи исполненнаго долга, отдохнуть потомъ въ легкой тѣни пальмъ, на сухой плотинѣ между каналами.

Возмужавъ, онъ провелъ десять лѣтъ въ супружествѣ. Онъ спалъ съ женщиной богатой и дородной, онъ наслаждался ею ночью, а днемъ — своими распоряженіями и заботами, питьемъ и пищей, легкостью тѣла, любившаго и сухой жаръ внутри двора, на горячихъ каменныхъ плитахъ, и прохладное вѣяніе вѣтра по дому, приходившаго съ рѣки и отъ цвѣтущихъ садовъ острова. Онъ гордился дѣтьми, домомъ своимъ и почетомъ людей. И былъ счастливъ, какъ многіе. Но незримая рука натягивала лукъ его жизни; она пробовала тетиву и древко, готовясь пускать стрѣлы истины. И еще десять лѣтъ провелъ онъ въ работѣ ума и сердца, въ молчаливомъ постиженіи мудрости Египта, ибо стѣнѣ предшествуетъ основаніе, а рѣчи — мысль. И сказалъ о жрецахъ: „Глупцы! Рабамъ, страдающимъ отъ зноя, простительно воздѣвать руки къ солнцу

и призывать его, какъ Бога. Но солнце—не Богъ. Бога никто не можетъ видѣть. Онъ непостижимъ. Его можно только чувствовать. Онъ одинъ. У Него нѣтъ дѣтей“. И тогда фараономъ овладѣла ярость, какъ дикимъ осломъ, гуромъ. „Кто смѣетъ жить и вѣрить безъ моего соизволенія? — воскликнулъ онъ. — У него нѣтъ драгоценныхъ колецъ на пальцахъ, нѣтъ ожерелья на шеѣ. Онъ мой рабъ. Вотъ я воздвигну гоненіе на него и на весь народъ его. Я блесну, какъ молнія, я оглушу, какъ громъ“. Пророкъ же напрягъ силы, какъ человѣкъ, стоящій передъ крутымъ подъемомъ въ гору, и пошелъ своимъ путемъ безъ страха и увѣренно.

Мускусъ растираютъ, алоэ кладутъ на огонь, чтобы дали они запахъ. Водолазъ не сорвалъ бы ни единой жемчужной раковины, если бы боялся задерживать дыханіе, бросаясь въ море. И когда настало время поднять самый тяжкій камень для зданія, вскинуть его на колѣно, перехватить покрѣпче и нести, пророкъ вскинулъ его до боли въ паху. И сорокъ лѣтъ несъ въ пустынь, напряженный, изнемогающій и радостный сознаніемъ, что творить волю Бога, а не фараона. И, донеся куда нужно, куда указано Строителемъ, кинулъ камень ладно и плотно, и выпрямился, и отеръ потъ съ лица—рукой дрожащей, ослабѣвшей и ноющей до самага плеча.

И настало время умереть ему.

Онъ позналъ истиннаго Бога. Онъ убѣдился, что безумно изображать Его въ видѣ идоловъ изъ камня, глины и металла. Богъ возложилъ на него подвигъ освобожденія еврейскаго народа отъ рабства и соблазна идолопоклонства: и онъ порвалъ

шелковыя сѣти міра, возсталъ и одолѣлъ въ борьбѣ. Богъ послалъ ему испытаніе: сорокъ лѣтъ быть вождемъ строптивыхъ и слабыхъ, предводительствовать и поучать въ голодной и знойной пустынѣ. И сорокъ лѣтъ былъ онъ властенъ, какъ царь, неутомимъ, какъ поденщикъ, обремененный дѣтьми, нищъ, какъ пастухъ, крѣпокъ и высокъ, какъ борецъ, силенъ и рыжъ, какъ левъ. Его тѣло, лишь по чресламъ препоясанное звѣриной шкурой, стало чернымъ отъ солнца и вѣтра, а ступни грубы и мозолисты, какъ у верблюда. Въ старости онъ сталъ страшенъ для людей, и никто изъ нихъ не думалъ, что онъ смертенъ. Но часъ его приблизился.

Вы, слушающіе! Въ Книгѣ написано: „Всѣ зачаты въ лонѣ истины, —это родители дѣлаютъ изъ дѣтей евреевъ, христіанъ, огнепоклонниковъ“. Мудрый же, какъ слѣпой: онъ ошупываетъ каждый камень на пути, выбирая путь правый, онъ поднимаетъ лицо кверху, тянется къ единому источнику свѣта и тепла. Онъ думаетъ о жизни и о смерти, уменьшая страхъ свой передъ нею. И было немало тѣхъ, что приняли чашу неизбѣжнаго спокойно; были и тѣ, что говорили: она сладостна такъ же, какъ чаша жизни. Только глупецъ тянется къ чашѣ смерти при жизни. Видъ его противенъ. Но и тотъ глупецъ, кто не думаетъ о неизбѣжномъ, кто забываетъ, что у всѣхъ смертныхъ долженъ быть единый Возлюбленный, обладающій благодатью и требующій покорности. Вы, слушающіе! Слушайте внимательно, какъ всегда долженъ слушать человѣкъ человека, и, слушая, думайте. Ибо мы говоримъ, мѣшая чужія хорошія слова со своими порядочными, о томъ, что не чуждо ни единому изъ насъ, а цѣль наша — утѣшеніе.



Въ Книгѣ написано: „Мы къ человѣку ближе, чѣмъ его сонная артерія“. Богъ милосердъ. Онъ знаетъ, что хорошо и что дурно для насъ. Онъ сотворилъ насъ смертными, мы же думаемъ противиться смерти. Напрасный трудъ! Слышали ли вы, чего стоило Искандеру Двурогому достигнуть Страны Мрака? Все же ему не удалось испытать воды вѣчной жизни, о которой ему говорили: она въ Странѣ Мрака. Ангелъ вѣтровъ не заботится о томъ, что отъ крыль его погаснетъ свѣтильникъ бѣдной вдовы. Гонецъ смерти не внемлетъ ни мольбѣ пастуха ни воплю владыки. Погоди: земля выѣстъ мозгъ изъ нашихъ череповъ, полныхъ замысловъ. Смерть не моголъ, и ты не Атабекъ-Абубекръ: отъ нея не откупишься золотомъ. Ищите же утѣшенія.

Пророкъ воспротивился волѣ Бога въ пустынѣ; и за ослушаніе былъ наказанъ тяжко: Богъ запретилъ ему войти въ землю обѣтованную. Пророкъ возмущенъ духомъ, когда вспомнилъ, что онъ смертенъ, и что смерть уже близка къ нему, ибо онъ былъ старъ. Онъ сказалъ: „Я вступлю въ единоборство съ нею“. Въ полдень, проходя по еврейскому стану въ горахъ Моава, онъ не увидѣлъ на бѣлыхъ камняхъ возлѣ себя своей тѣни. И затрепеталъ отъ страха, и помутилось въ головѣ его, какъ у человѣка, сраженного лихорадкой. Тогда пошелъ онъ къ шатру своему той поступью, какой идетъ раненый звѣрь на противника. И препоясался мечомъ и приказалъ подать пищи. И ѣлъ много и жадно, до пресыщенія. И почувствовалъ боли и тошноту, какъ бы отъ яда, какъ бы отъ плода съ адскаго древа, и позеленѣлъ въ лицѣ, покрылся потомъ, какъ рождающая женщина, и легъ на

землю, крича дико: „Вотъ я умираю, обнажите мечи и встаньте на защиту мою!“ Такъ кричалъ онъ первый день. На второй боли усилились, и онъ сталъ молить, стеная и злобствуя: „Позовите врача ко мнѣ!“ Когда же врачъ обнаружилъ свое безсиліе и насталъ третій день, пророкъ сказалъ тихо: „О, пожалѣйте меня! Смерть непобѣдима!“ И ослабѣлъ и впалъ въ сонъ, и спалъ весь день, и боли отступили отъ него. И, очнувшись, увидалъ, что уже ночь и онъ одинъ, и опять ощутилъ сладость жизни и печаль разлуки. Тогда вошли къ нему два темныхъ ангела, чтобы утѣшить и приготовить его.

Одинъ сѣлъ въ возглавіи, другой — въ ногахъ пророка. „Говори!“ — сказали они. Но онъ молчалъ и не отвѣтилъ имъ, думая. Онъ глядѣлъ въ ночь, за приподнятую полу шатра, въ страхъ чувствуя ихъ присутствіе, ибо еще не вошла во всѣ жилы его истина. И было такъ тихо въ шатрѣ и въ пустынѣ, что всѣ трое слышали шорохъ горячаго вѣтра, пробѣгавшаго въ темнотѣ мимо. Звѣзды же горѣли сумрачно, какъ во всѣ жаркія ночи.

„Богъ милосердъ къ Своимъ созданіямъ“, — сказалъ ангель, сидящій въ головахъ пророка.

„Но вотъ человѣкъ страдающій: онъ умираетъ“, — сказалъ ангель, сидящій въ ногахъ его.

Они хотѣли испытать пророка, но онъ понялъ это. И отвѣтилъ, думая:

„Это была не смерть, а болѣзнь, наказаніе. Не лучше ли такъ думать? Ибо испытавшій смерть не можетъ говорить о ней. Мы не знаемъ ея“.

„Солнце — источникъ жизни“, — сказалъ ангель, сидящій въ возглавіи.

„Но оно же и смертельно, какъ рогатая гадюка“, — сказалъ ангелъ, сидящій напротивъ.

Они хотѣли испытать пророка, но онъ понялъ это. И отвѣтилъ, думая:

„Мы не знаемъ цѣли Бога. А Онъ благъ, и цѣль Его — благая. Не лучше ли такъ думать? Каждое мгновенье свое долженъ человѣкъ посвящать жизни, помня о смерти лишь затѣмъ, дабы взвѣшивать дѣла свои на вѣсахъ ея и безъ страха встрѣтить часъ неизбѣжный. Какъ бы зналъ торгующій, что онъ честенъ съ покупателемъ, что онъ даетъ ему должное, если бы не было вѣсовъ? Какъ бы провелъ свой день человѣкъ, если бы сѣрдца его не покидало возмущеніе, что зайдетъ въ свой часъ солнце, — если бы овладѣло имъ желаніе не допустить этого? Былъ бы онъ безуменъ и бесплоденъ“.

„Сонъ мертвыхъ сладокъ“, — сказалъ ангелъ, сидящій въ возглавіи.

„Но вотъ умеръ въ станѣ еврейскомъ человѣкъ счастливый, молодой, любимый, — сказалъ ангелъ, сидящій напротивъ. — Ты послушай: вотъ порохъ горячаго вѣтра, пробѣгающаго въ темнотѣ мимо, звѣзды горятъ сумрачно, и гіены плачутъ и скулятъ отъ злого счастья, торопливо разрывая могилу, приюхиваясь къ зловонію и предвкушая пожирание внутренностей. Скорбь же близкихъ умершаго страшнѣй самой могилы“.

Они хотѣли испытать пророка и ранили сердце его. Но, думая, онъ сказалъ имъ:

„Я вспоминаю каждое мгновенье моей жизни: сладкаго дѣтства, радостной молодости, трудового мужества — и оплакиваю ихъ. Вы говорите о могилѣ, — и руки мои холодѣютъ отъ страха. Прошу

васъ: не утѣшайте меня, ибо утѣшеніе лишаетъ мужества. Прошу васъ: не напоминайте мнѣ о тѣлѣ, ибо оно сгніетъ. Не лучше ли иначе думать? И стоянку, долину, защищенную отъ вѣтровъ, гдѣ провелъ человѣкъ хотя бы одинъ день, покидаетъ онъ съ сожалѣніемъ; но онъ долженъ итти, если итти необходимо. Говоря со страхомъ о могилѣ, не говоримъ ли мы словами древнихъ, знавшихъ тѣло и не знавшихъ Бога и безсмертія душъ? Страшно величіе дѣлъ Божіихъ. Не принимаемъ ли мы этотъ страхъ за страхъ смерти? Чаше говорите себѣ: часъ ея не такъ страшенъ, какъ мы думаемъ. Иначе не могъ бы существовать ни міръ ни человѣкъ“.

„Онъ мудръ“, — сказалъ ангелъ, сидящій въ воеглавіи.

„Онъ былъ строптивъ и дерзокъ, — сказалъ ангелъ, сидящій напротивъ. — Онъ мечталъ бороться съ Богомъ и вотъ снова будетъ наказанъ: ни единый смертный не укажетъ могилы его въ горахъ Моава. И тѣмъ уменьшится слава его“.

Они хотѣли испытать пророка, но онъ понялъ ихъ и отвѣтилъ имъ твердо:

„Благостна слава достойныхъ славы. Но должно быть уменьшено то, что заслужило уменьшенія. Ибо и самого славнаго радуетъ только истинная мѣра славы“.

Тогда ангелы, пораженные мудростью пророка, воскликнули, вставая съ мѣстъ:

„Воистину самъ Богъ утѣшитъ тебя! Мы же поклоняемся тебѣ“.

Они были темны и стояли въ темномъ шатрѣ. Но глаза ихъ сіяли, и пророкъ видѣлъ звѣздное сіяніе ихъ глазъ. Они отошли въ ночь, какъ тѣни,



чуть склонясь при выходѣ изъ шатра. Пророкъ же остался одинъ среди ночи и пустыни, лежа на землѣ. И когда взошло солнце изъ-за каменистыхъ горъ, и стало свѣтло и жарко въ шатрѣ, чувствуя великую жажду отдыха въ прохладѣ, пророкъ оставилъ свое ложе и пошелъ въ долину среди горъ, ища тѣни. Но и въ долинѣ уже не было ея. Въ нѣдрахъ же одной горы была пещера. И вотъ два невольника острыми кирками осѣкаютъ входъ въ пещеру. Камни у входа были бѣлы, какъ снѣгъ горный, и горячи отъ солнца. И черные волосы мѣдноликихъ невольниковъ и повязки вокругъ чреслъ ихъ были мокры отъ пота. Но два свѣжихъ плода, два яблока лежало на камнѣ возлѣ пещеры, а въ пещерѣ были мракъ и прохлада. И сказали работавшіе, опуская кирки:

„Привѣтствуемъ тебя, господинъ и вождь, во имя Бога милостиваго, милосердаго. Вотъ мы кончили свой трудъ“.

И пророкъ спросилъ ихъ:

„Кто вы и что вы дѣлали?“

Они же отвѣтили ему:

„Мы готовили для царя кладохранилище. Войди, взгляни и отдохни отъ пути и зноя. Уста свои освѣжи плодами и скажи намъ: какой слаще и спѣлѣе изъ нихъ?“

И, войдя въ пещеру, пророкъ сѣлъ на каменное ложе у стѣны ея и почувствовалъ тѣнь и прохладу. И, откусивъ перваго плода, сказалъ:

„Воистину это сама жизнь: я пью ключевую воду, я обоняю благоуханіе полевыхъ цвѣтовъ и чувствую вкусъ осинаго меда. Я бодръ и силенъ“.

И откусивъ второго, воскликнулъ:

„Воистину это ни съ чѣмъ несравнимо: я пью

вина райскія, запечатанныя печатью изъ мускуса, смѣшанныя съ водой источника, утоляющаго жажду тѣхъ, что приближаются къ Вѣчному. Я обоняю аромать сада небеснаго и чувствую вкусъ меда изъ цвѣтовъ его: въ этомъ медѣ нѣтъ горечи. И вотъ сонъ блаженный туманитъ мнѣ голову. Не будите меня, невольники, доколѣ не исполнится мой срокъ“.

И невольники, — это были ангелы, невольники Божіи, — стали тихо продолжать затихающую рѣчь его:

„Доколѣ, — сказалъ первый, читая суру о Великой Вѣсти: — доколѣ солнце не будетъ согнуто, не падутъ съ неба звѣзды, не сдвинутся съ мѣста горы, не будутъ покинуты верблюдицы, не закипятъ моря...“

„Я Синъ, — сказалъ второй, читая суру Отходную. — Слава Царствующему надо всѣмъ міромъ! Вы всѣ возвратитесь къ Нему...“

И, слушая ихъ шопотъ, но не слыша ихъ словъ, пророкъ возлегъ на ложе и опочилъ сномъ смерти, не вѣдая того. И ангелы закрыли входъ въ могильную пещеру и отошли къ Господину, посылавшему ихъ. И приложился пророкъ къ народу своему, насыщенный днями и не замѣтивъ конца своихъ дней. Никто, даже и донинѣ, не созерцалъ его могилы въ горахъ Моава. Но мудрость его запечатлѣна въ памяти всѣхъ народовъ и записана на небесахъ въ книгѣ вѣчной, Гилльюнъ.

Шейхъ Саади, — да будетъ благословенно его имя! — шейхъ Саади, — много его жемчужинъ низали мы рядомъ со своими на нитку хорошаго слога! — рассказалъ намъ о человѣкѣ, испытывшемъ сладость приближенія къ Возлюбленному. Чело-

вѣкъ этотъ былъ погруженъ въ созерцаніе; когда же очнулся онъ, спросили его съ ласковой усмѣшкой: „Гдѣ же цвѣты изъ сада мечты твоей?“ И человѣкъ отвѣтилъ: „Я хотѣлъ набрать для друзей моихъ цѣлую полу розъ; но, когда я приблизился къ розовому кусту, такъ опьянилъ меня ароматъ его, что я выпустилъ ее изъ рукъ“.

Кто можетъ, тотъ свяжетъ разсказъ поэта съ нашимъ.

Миръ и радость всѣмъ живущимъ!

Капри. 1911





ИГНАТЪ



## I

Любка вторую зиму жила на барскомъ дворѣ въ Извалахъ, у господъ Паниныхъ, когда нанялся къ нимъ въ пастухи Игнатъ.

Ему шелъ двадцать первый годъ, ей двадцатый. Онъ былъ изъ бѣднаго дома въ Чесменкѣ, одной изъ деревень, составляющихъ Извалы, она изъ такого же въ Шатиловѣ, что неподалеку отъ Извалъ. Онъ не помнилъ матери, она—отца. Ея мать была побирушка—скиталась по уѣзду со слѣпцами. Но говорили, что Любка „полукровка“, незаконная дочь шатиловскаго барина. Да и выросла она при господяхъ. И поэтому, чѣмъ болѣе волновала пастуха ея красота, чѣмъ болѣе думалъ онъ о горничной, тѣмъ болѣе робѣлъ. А чѣмъ болѣе робѣлъ, тѣмъ чаще думалъ, тѣмъ сумрачнѣе и молчаливѣе становился.

Въ черныхъ, блестящихъ глазахъ Любки была какая-то преступная ясность, откровенность. Ловко и спокойно крадя она одеколонъ и мыло у барыни, сѣдой важной вдовы, курившей тонкія душистыя папиросы. Иногда была она жива, наивна и казалась моложе своихъ лѣтъ, иногда — старше, все испытавшей женщиной. Да и груди были у

нея какъ у женщины. Ее лѣтъ четырнадцать изнасиловалъ старикъ Зыбинъ, патиловскій земскій начальникъ; и теперь она позволяла барчукамъ Панинымъ очень многое, не боясь увлечься. А для Игната, еще не знавшаго женщинъ, отношенія между мужчинами и женщинами становились все страшнѣе и желаннѣе. Непроще, скрѣпленіе его не было малаго во всѣхъ Извалахъ. Даже ѣдучи на розвальняхъ на гумно, за колосомъ для скотины, никогда не отвѣчалъ онъ прямо и сразу на вопросъ: куда ѣдешь? Избѣгая взгляда Любки, не поднимая утрюмыхъ глазъ, стыдясь своихъ лаптей, шапки и опшмыганнаго полушубка, онъ исподлобья слѣдилъ за ней, и спокойное безстыдство ея, смутно имъ понимаемое, было для него и жутко и плѣнительно.

Усилили его любовь и барчуки.

Барчуки, — уже лѣчившійся на Кавказѣ офицеръ Алексѣй Кузьмичъ, ровесникъ Игната, и Николай, ровесникъ Любки, все переходившій изъ одного учебнаго заведенія въ другое, — пріѣзжали зимой только на большіе праздники. Въ этомъ году на масленицу пріѣхалъ сперва младшій. И Любка была особенно оживлена, видъ имѣла особенно откровенный, не будучи, впрочемъ, откровенной ни съ кѣмъ. Такъ и сіяли ея неподвижные глаза, когда она, черноволосая, крѣпкая, съ сизымъ румянцемъ на смуглыхъ щекахъ, въ зеленомъ шерстяномъ платьѣ, во весь духъ работая локтями и шурша бѣлымъ подкрахмаленнымъ передникомъ, носилась то за тѣмъ, то за другимъ отъ людской къ дому и отъ дома къ людской, по темнѣющей среди снѣжнаго двора тропинкѣ. И за масленицу, за эти сѣрые дни, слегка туманившіе, дѣлавшіе тусклыми сосны и ели въ палисадникѣ, слегка



кружившіе голову своимъ тепломъ и праздничнымъ чадомъ изъ трубъ, Игнату не разъ приходилось наткаться на игру барчуковъ съ Любкой.

Какъ-то въ сумерки онъ видѣлъ: она выскочила изъ дома съ злымъ, раскраснѣвшимъ лицомъ и растрепанными волосами. За ней, смѣясь и что-то крича, выбѣжалъ на крыльцо, на тающій снѣгъ, Николай Кузьмичъ, приземистый, большегрловый, съ тупымъ и властнымъ профилемъ, въ косовороткѣ изъ бѣлаго ластика и лакированныхъ сапогахъ... А вечеромъ Любка, веселая, запыхавшаяся, столкнулась въ темныхъ сѣняхъ людской съ Игнатомъ.

— Разорвалъ баску и цѣлый пузырь персидской сирени подарилъ, — неожиданно и быстро сказала она, задерживая бѣгъ. — Понюхай-ка!

И черезъ мгновеніе исчезла, а Игнатъ долго простоялъ на одномъ мѣстѣ, тупо глядя въ темноту: пахло кухней, предвесенней свѣжестью, собаками, глаза которыхъ парными красноватыми изумрудами горѣли, двигались передъ нимъ, онъ же слышалъ только дурманящій, сладкій запахъ духовъ и еще болѣе дурманящій запахъ волосъ, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотѣвшаго подъ мышками...

Пріѣхалъ офицеръ: худой, съ карими острыми глазами, съ длиннымъ блѣдно-сѣрымъ лицомъ въ лиловыхъ, припудренныхъ прыщахъ. Тяжело, вся сотрясаясь, выбѣжала на крыльцо молочно-сѣдая барыня, подвитая, наряженная, въ туго стянутомъ корсетѣ, замахала бѣлымъ платочкомъ на звонъ тройки, выносившей сани изъ-подъ горы. У крыльца кучеръ осадилъ тройку и офицеръ заговорилъ быстро, не заботясь о томъ, слушаютъ ли его; потомъ откинулъ полость саней размашисто, какъ

у подъѣзда ресторана, на крыльцо взбѣжалъ, ловко и развязно притопывая раскоряченными, очень тонкими ногами въ легкихъ, маленькихъ и блестящихъ сапожкахъ, звеня серебряными шпорами и дергая, поправляя приподнятыми плечами широкую николаевскую шинель съ бобровымъ стоячимъ воротникомъ. Былъ канунъ прощенаго дня. Масленица выпала поздняя, и порой казалось, что всеѣмъ одолеваетъ зиму весна. Съ утра грѣло солнце, сіяло голубое небо, сіяли его отсвѣты на снѣгу, капали капли. Но послѣ полдня стало хмуро, пронзительно-сыро, затуманившійся, тускло посинѣвшій палисадникъ упруго зазвенѣлъ, запѣлъ въ дремотѣ. Не обращая вниманія на сырость и вѣтеръ, Любка въ одномъ платьѣ таскала изъ троечныхъ саней какіе-то кульки. И пастухъ слѣдилъ за ней, за тѣмъ, какъ наклонялась она.

Онъ стоялъ на широкомъ грязномъ крыльцѣ людской, пропахнувшей блиннымъ чадомъ. Крупные хлопья снѣга падали и мгновенно таяли передъ крыльцомъ въ огромной лужѣ, по которой важно ходили только-что прилетѣвшіе грачи. Работникъ и кухарка, подоткнутая, въ сапогахъ, вытащили большую лохань, продѣвъ въ ея ушки палку. Въ лохани дымилась густая желтая овсянка. Борзые стаей кинулись къ ней и, дрожа, горбясь, пропуская между ногъ судорожно изогнутые, тугіе хвосты, стали пожирать ее. Кухаркинъ мальчишка, въ красной, праздничной рубашкѣ, ворочалъ овсянку лопатой и билъ то ту, то другую глухо рычавшую собаку. Уже были по двору лысины — чернѣла кое-гдѣ земля. Вытаскивая изъ лохани испачканные желтой гущей морды, собаки катались, терлись по землѣ, потомъ гурьбой потянулись черезъ дворъ къ

саду за домомъ. Рядомъ съ красавицей Стрѣлкой, черноглазой борзой въ атласной бѣлой шерсти, шелъ большой рыжій кобель, дворовый, и, яростно скаля зубы, рыча, захлебываясь, не подпускалъ къ ней никого изъ борзыхъ. Томимый вождельніемъ, Игнатъ двинулся за собаками. Но въ аллеѣ онѣ свернули, побѣжали по сѣрому насту подъ кривыми вѣтвистыми яблонями куда-то въ сторону. Игнатъ вышелъ за садъ, въ сѣрое поле, на которое косо летѣли бѣлые хлопья, снялъ шапку и досталъ изъ разорваннаго ватнаго дна ея завѣтный двугривенный.

Мимо садоваго вала, по задворкамъ онъ поплелся на деревню, чернѣвшую обтаявшими избами на косогорѣ. Желтоватые, замасленные санями горбы сугробовъ, съ гладко втертымъ въ нихъ конскимъ навозомъ, и выбоины, полныя студеной внешней воды, тянулись между избами и пуньками. Игнатъ стукнулъ въ окошечко особенно черной и хилой избы, подъ стѣной которой, нахохлившись, дремали куры. Изнутри прильнуло къ окошечку старое, желтое лицо. Игнатъ показалъ двугривенный. И, надернувъ на босыя ноги тяжелые, сырые валенки, съ головой накрывшись полушубкомъ, баба провела Игната черезъ дорогу въ холодную пахучую пуньку съ желѣзной дверкой и засунула въ подставленный глубокій карманъ его растянувшихся портокъ бутылку.

За пунькой, на скатѣ косогора, покрытомъ зернистымъ снѣгомъ, онъ постоялъ, думая о Любкѣ. Потомъ запрокинулъ голову и, не переводя духа выпилъ все до капельки. И, пряча пустую посуду почувствовалъ, что горячо, хорошо пошла отравы по всему его тѣлу. Онъ присѣлъ на корячки и сталъ

ждать дурману; потомъ упалъ, хохоча, наслаждаясь тѣмъ, что пьянъ, и поползъ подъ гору, въ лужокъ.

Очнувшись, онъ долго не могъ понять, гдѣ онъ. Онъ сталъ маленькимъ, легкимъ — промерзъ весь, насквозь. Дулъ сырой вѣтеръ, смеркалось, снѣгъ уже не падалъ. Со страхомъ вспомнивъ, что еще не привезено въ домъ соломы, — домъ топили соломой, Игнатъ каждый вечеръ набивалъ ею заднія крыльца, съ утра до сумерокъ ѣздилъ на развальняхъ то за топкой, то за кормомъ для скотины, — онъ вскочилъ и побѣжалъ черезъ деревню, потомъ черезъ садъ. Голова его была мутна, но тѣло легко, всѣ чувства обострены, и вѣтеръ особенно волновалъ ихъ, — онъ былъ сладокъ, хотѣлось глотать его всей грудью. Игнатъ зналъ, что забылъ веревку на заднемъ крыльцѣ, и, запыхавшись, шлепая лаптями по мокрому снѣгу, повернулъ изъ аллеи прямо къ нему. Въ сумракѣ подъ навѣсомъ крыльца стоялъ кто-то, кого-то прижималъ къ стѣнѣ и на шаги Игната повернулъ голову.

— Чего тебѣ? — крикнулъ онъ.

Это былъ офицеръ, его голосъ, его длинное блѣдное лицо, бобрикомъ стриженная, узкая и длинная къ затылку голова. За два пальца офицера не пуская его руку, держала прижатая къ стѣнѣ Любка. Игнатъ, не сводя глазъ съ ея слабо блѣвшаго въ сумракѣ передника, отошелъ; постоялъ — и медленно побрелъ по двору, опять чувствуя сладкое нитье въ животѣ, тоску въ предплечьяхъ, въ ослабѣвшихъ ногахъ. Сумрачными, смутными массами нависали надъ садомъ дождевыя облака. Дулъ на лужи сильный западный вѣтеръ — и была въ немъ пьянящая влажность, сила ранней весны, одолюющей зиму.



А на другой день одолѣла зима, еще гуще валилъ снѣгъ, къ вечеру поля потерялись въ туманѣ вьюги. Барыня уѣхала къ сосѣдкѣ. Офицеръ, звеня шпорами, вышелъ на крыльцо, закричалъ черезъ дворъ, чтобы запрягли въ бѣгунки Королька, и, наклонясь къ сидѣвшимъ на крыльцѣ собакамъ, на спинахъ и лбахъ которыхъ снѣгъ лежалъ толстымъ слоемъ, сталъ сладострастно трясти то ту, то другую за ушами и сквозь зубы приговаривать: „а-а та, та, та!“ Любка обошла его съ блюдомъ жареной наваги, понесла блюдо въ людскую. Онъ покосился и забормоталъ еще сладострастнѣе

— А-а, собаки, собакаи, собачики ми-и!

Былъ прощенный день. Изъ-подъ горы, съ рѣки, глухо доносились сквозь шумъ темнѣвшей вьюги пьяные голоса, пѣсни, громыханіе бубенчиковъ, звонъ колокольниковъ: лавочникъ, сапожникъ, урядникъ, мужики — всѣ катались со своими гостями, съ барышнями, дѣвками, сватами. Было и хорошо и тоскливо, чувствовался и самый развалъ и конецъ праздника. Когда Королька запрягли, офицеръ, въ сѣрой ловкой шинелькѣ и папахѣ, вытащилъ на крыльцо хохочущую, счастливую, нарумяненную Любку. На ней была шубка съ воротникомъ изъ орѣховаго мѣха, зеленое платье свое она подобрала, подоткнула. Голова ея была закутана сѣрой шалью, она гнула голову, смѣясь, упираясь, сходя съ крыльца мелкими, тупыми шажками. Игнатъ, подавъ золотисто-рыжаго жеребчика, держалъ его подъ уздцы, и жеребчикъ зло и умно косилъ большимъ блестяще-лиловымъ яблокомъ на офицера, на его шелковый шарфикъ, краснѣвшій изъ ворота шинели, вокругъ тонкой шеи, покрытой зажившими,

стянувшимися прыщами. А Игнатъ все глядѣлъ на бѣлый подолъ Любки, на ея грубыя полсапожки, намазанныя саломъ, къ которому не прилипать мокрый снѣгъ...

Потомъ онъ тащился на розвальняхъ къ гумну, билъ веревочной вожжой нескладно-костляваго мерина. И Королекъ, екая и злясь, стучая ледяными глудками въ передокъ, фыркая отъ свѣжаго снѣга, летѣвшаго ему навстрѣчу, въ горячія ноздри, обогналъ, обдалъ дыханіемъ и сталъ пропадать вмѣстѣ съ бѣгунками въ дыму вьюги, весело и сумрачно разыгравшейся въ мутно-сизомъ полѣ. Снѣгъ хлопьями валилъ на сытую спину Королька, на папаху, на погоны, на блестящій сапожокъ со шпорой, крѣпко поставленный на желѣзный отводъ. Лѣвой рукой въ замшевой перчаткѣ держалъ офицеръ голубыя вожжи. Другой захватилъ голову въ сѣрой шали, припалъ къ ней папашой.

И твердо рѣшилъ Игнатъ промѣнять работнику Яшкѣ свою гармонію, единственное свое богатство, на старые сапоги. Навозивъ соломы, онъ не пошелъ на улицу, къ толпѣ, что сбилась и смутно темнѣла среди ночной вьюги подъ застрѣхой крайней избы, на выгонѣ передъ церковью. Тамъ ловко и бѣшено перебивали другъ друга гармоніи, заглушаемыя пѣснями и вѣтромъ, кружились въ дыму взвивавшейся поземки, носились, какъ вѣдьмы, пляшущія дѣвки. Но Игнатъ, утопая въ снѣгу, пробрался черезъ выгонъ къ ярко освѣщенному дому лавочника и часа два не спускалъ глазъ съ залѣпленныхъ снѣгомъ оконъ, за которыми мелькали тѣни танцующихъ.

## II

Великій постъ тянулся, онъ былъ свѣрый, однообразный.

День за днемъ дулъ жесткій вѣтеръ, блѣдно бѣлѣли поля, тускло синѣли, скучно напѣвали сосны и ели въ палисадникѣ, слишкомъ рано прилетѣвшіе грачи куда-то скрылись. Офицеръ давно уѣхалъ. Но Николай Кузьмичъ зажился. Разъ подѣхалъ Игнатъ на розвальняхъ къ заднему крыльцу дома. Розвальни зашуршали висящей съ нихъ старновкой по ступенькамъ крыльца, и барчукъ, игравшій съ Любкой, смѣясь, поднялся съ соломы. Любка, поправляя волосы, глядѣла спокойно.

— Вотъ вы такъ-то играете, — сказала она, — а по селу пойдутъ брехать... Хотя бы ты, Игнатъ, меня замужь взять, — прибавила она равнодушно, вставая.

Игнатъ покраснѣлъ и насупился. Ни малѣйшаго значенія не придавъ онъ ея словамъ, но съ этого дня шевельнулась и стала расти въ немъ ревность, злоба. Жуя черный хлѣбъ, косясь на домъ, съ завистью чувствуя его внутреннюю жизнь, онъ проѣзжалъ на розвальняхъ по аллеѣ, выѣзжалъ на гумно. Собаки пѣгой стаяй, трясясь, бѣжали за нимъ. Въ остаткахъ ометовъ возились и пищали мыши. Собаки рыли солому, принюхивались, насто-раживались, еще яростнѣе рвали ее когтями, дрожа и скуля, и вдругъ, подпрыгнувъ, кидались на добычу хищно и мѣтко. Женственно-красивую, съ маслянистыми черными глазами Стрѣлку Игнатъ заманивалъ въ ригу. Она вбѣгала, онъ припиралъ скрипучія ворота. Становилось жутко. Холодно пахло токомъ, тепло — ржанымъ колосомъ. Въ

сумракъ огромнаго трехугольника, по застрѣхамъ, по рѣшетнику и переметамъ котораго сѣрѣла густая бархатная пыль лѣтней молотьбы, пробивался въ длинную щель воротъ холодный, блѣдный свѣтъ. Вѣтеръ шуршалъ за ними, дулъ по току...

Въ ясный солнечный день на третій недѣлѣ уѣхалъ и Николай Кузьмичъ. Внезапно вернулась весна. Крыши варка, сарая за однѣ сутки обтаяли, старая, бурая солома ихъ золотилась противъ солнца, рѣзко отдѣлялась отъ голубого, умиляющаго душу неба. Выпустили плюшевыхъ, обросшихъ за зиму жеребятъ и коровъ, они дремали, грѣлись на солнцѣ. Рѣзко, серебромъ сверкалъ сочащійся снѣгъ по двору. У параднаго крыльца, въ тѣни, возлѣ синей лужи, стояла тройка. Отражались въ лужѣ и небо, и бѣлый передникъ Любки. Вышелъ Николай Кузьмичъ въ накинутой поверхъ шинели енотовой шубѣ, вышла барыня. Долго прощались, долго, обирачиваясь, кричалъ что-то уѣзжающій, когда тронулись и потянулись сани по ухабистой, текущей дрожащими ручейками дорогѣ, по выступившему, накопившемуся за зиму навозу, похожему на мокрый табакъ. Гдѣ блестяла вода по ухабамъ, лошади, тонконогія, съ подвязанными хвостами, взмахивали особенно щеголевато точно вычищенной сталью подковъ. На солнцѣ грѣло, много галоковъ собралось на соснахъ и еляхъ палисадника, зазеленѣвшаго пышно и свѣжо. А въ тѣни чувствовался сѣверный рѣзкій вѣтерокъ. Стоя на парадномъ крыльцѣ, Любка озябла, щеки ея посизѣли. Сани скрылись подъ горой, она напѣвала задумчиво, чуть слышно: „Мчится парочка вдвоемъ“... Потомъ вострепенулась, вбѣжала въ домъ — и немного погодя выскочила на заднее



крыльцо. Игнатъ, проходившій мимо, вдругъ повернулъ къ крыльцу. Она тупо, со страхомъ, не двигаясь, глядѣла на него. Игнатъ подошелъ вплотную и схватилъ ее за кисти. И оба смутились. И какъ бы играя или пробуя силу, разводя сцѣпленными руками, не знали, что сказать. Вдругъ Любка нахмурилась.

— Пусти! — крикнула она. — Еще что за моду взять!

И, вырвавъ руки, повернулась и хлопнула дверью.

Садъ казался особенно рѣдкимъ на серебрѣ снѣга, испещренномъ фіолетовыми тѣнями, аллея—веселой, широкой. И опять, нахмуренный, злой, Игнатъ пошелъ по ней на деревню, къ бабѣ шинкаркѣ. И опять очнулся передъ вечеромъ въ лужкѣ, насквозь промерзшій, изумленный. Усатыя ветлы, стоявшія возлѣ него, золотились на блѣдно-голубомъ небѣ, за ними было солнце. Небо изъ-подъ горы казалось необъятно-огромнымъ и новымъ.

— Не пара она мнѣ, — твердо сказалъ Игнатъ, поднимаясь. — Пропалъ я.

Съ этого вечера онъ никогда не смотрѣлъ на домъ, проѣзжая мимо, не отвѣчалъ Любкѣ, если даже она заговаривала. Прошелъ постъ, прошла Святая. Снѣга уже нигдѣ, кромѣ овраговъ, не было, въ деревняхъ опушились легкой лимонной дымкой лозины; вокругъ деревень лилово чернѣли папши, грѣло солнце, дрожало расплавленное стекло по горизонтамъ, пѣли жаворонки, сохли блекло-зеленоватыя межи, сѣрые пары, сѣдая полынь. Молодая пахучая травка чуть пробилась. Но Игнатъ уже давно ходилъ за стадомъ въ поля, къ милютинскому лѣску, еще голому, полному сухой дубовой листвы и поденѣжниковъ. Коровы дремали на пригрѣвѣ, у

опушки. Бѣсть было нечего, онѣ ложились, вздыхая, и галки садились на нихъ, дергали шерсть для гнѣздъ. Игнатъ навивалъ кнутъ, лѣниво посматривалъ въ солнечную даль, на дороги, гдѣ уже лежала пыль, радостно напоминавшая о лѣтѣ, и загоралъ отъ солнца, отъ апрѣльского суховѣя.

Когда были деньги, онъ былъ счастливъ. Въ полѣ, выбравъ мѣстечко посуше, онъ разстилалъ свой рваный пиджакъ, ставилъ на него бутылку, вытаскивалъ изъ кармана хлѣбъ, заранѣе круто посоленный и отсырѣвшій, холодныя картошки. Вскорѣ голова его начинала сладко кружиться. Солнечный южный горизонтъ за сѣрѣющими равнинами дрожалъ, тонко струился паръ, чуть синѣвшій на солнцѣ надъ спекшимися кучами навоза, раскинутого по полю, коровы двоились и плыли... Странно, — онъ все-таки чего-то ждалъ! Хмельной, онъ чувствовалъ это, чувствовалъ, что связалась его жизнь съ жизнью Любки, на бѣду связалась! Что-то придется сдѣлать, чтобы покорить ее, чтобы стать равнымъ съ нею, чтобы вызвать ея любовь. Иначе, если онъ даже добьется своего, не будетъ она мужика любить... А весна требовала любви. Плывя, дрожа, опиралась на колѣни переднихъ ногъ, потомъ неуклюже поднимала задъ одна корова, другая, третья... Поднимался большой мышастый быкъ, широколобый, съ гладкимъ хвостомъ, на концѣ котораго висѣлъ шелковисто-волнистый мохоръ, тяжело бѣжалъ, мотая нитями стекловидныхъ слюней, — и вдругъ, весь наливаясь мощью, вставалъ на дыбы... У Игната заходило сердце. Онъ опрокидывался навзничъ, на сухіе, черные шмоты навозной кучи. Онъ закрывалъ глаза, слезы выкатывались изъ-подъ его рѣсницъ, онъ не стиралъ слезъ, и мухи пили ихъ.

Потомъ онъ крѣпко засыпалъ и спалъ до тѣхъ поръ, пока дошедшее до зенита солнце не начинало печь его голову и плечи. Пригнавъ стадо домой, онъ молча обѣдалъ въ людской и уходилъ спать въ каретный сарай, гдѣ у каменной стѣны была сбита изъ колевъ высокая кровать, покрытая соломой и клоками ватнаго краснаго одѣяла. Послѣ сна онъ бывалъ золъ и, выгоняя стадо, дралъ коровъ своимъ длиннымъ, хлопающимъ кнутомъ такъ сильно, что на бокахъ ихъ вздувались рубцы.

Онъ рѣшилъ вести себя такъ, чтобы приказчикъ избилъ и прогналъ его. Лѣто, прїѣздъ барчуковъ — все это пугало его: когда-нибудь онъ не выдержитъ-таки и изъ-за угла проломитъ кирпичомъ голову Любкѣ или Николаю Кузьмичу! Но случилось такъ, что однажды, въ маѣ, когда лѣсокъ уже густо опушился темной зеленью, заросъ цвѣтами и травами, когда рано утромъ уже по-лѣтнему было жарко на солнечныхъ полянахъ, а въ росистой тѣни свѣжо и таились ландыши, увидалъ онъ, пригнавъ стадо на паръ, сидящую у опушки бабу. Это была нищая, дурочка Оіона. Положивъ возлѣ себя мѣшокъ и палку, она сидѣла, слегка раскрывъ ротъ, вся въ лохмотьяхъ, съ мокрымъ подоломъ, съ блестящими глазами на опухшемъ лицѣ. Она была слегка пьяна. Когда Игнатъ подошелъ, она съ гоготомъ, сдержанно-страстнымъ, повалилась навзничъ, выставила колѣни и стала тереть большими лаптями по росистой травѣ. Въ мѣшкѣ ея были крендели, водка. И, выпивъ, Игнатъ не совладѣлъ съ собой.

Съ этихъ поръ дурочка стала приходить къ нему чуть не каждый день. Просыпаясь по ночамъ, онъ силился плакать: обидно, больно было ему при мысли, что живетъ онъ съ дурочкой! До солнца, по

холодной, крупной росѣ онъ выгонялъ стадо. Въ полдень напивался. Теперь пили уже на его деньги. Онъ забралъ жалованье за мѣсяцъ впередъ. Но и его деньги наконецъ изсякли. И дурочка стала зла, нахальна, требовательна, дурочкой уже не притворялась. Когда онъ являлся безъ водки, она отказывала ему, морила его по недѣлѣ. И разъ даже крѣпко и ловко ударила его по головѣ палкой. Онъ поднялся и пошелъ прочь, странно, неумѣло рыдая. А наплакавшись, сѣлъ на межу и тупо сталъ думать все о томъ же, о чемъ онъ думалъ теперь безпрестанно: гдѣ бы достать денегъ? Но достать было негдѣ, украсть — тоже. Сапоги онъ пропилъ.

Вся дворянка знала его исторію, за обѣдомъ и ужиномъ надъ нимъ часто хохотали. Онъ багровѣлъ и молчалъ. Чтò было бы, будь Любка при этомъ? Но, на счастье его, барчуки не пріѣзжали, слышно было, что Николай Кузьмичъ у товарища подъ Харьковомъ, офицеръ — на маневрахъ подъ Смоленскомъ. А барыня уѣхала на шесть недѣль въ Липецкъ и увезла съ собой Любку. Въ усадьбѣ было тихо и скучно. Да и дурочка стала являться все рѣже и рѣже — шаталась по ярмаркамъ. И вотъ лѣто пошло уже къ концу — жаркое, длинное. Обмелѣла рѣчка, до-черна выглодала скотина корма, хлѣба поспѣли, пересохли и сыпались. Пошли косить ихъ, — былъ уже конецъ іюля.

Въ концѣ іюля, возвращаясь однажды на закатѣ со стадомъ въ село, Игнатъ встрѣтился съ дурочкой. Она остановилась и показала на лѣсокъ.

— Какъ отдѣлаюсь, такъ приду, — сказалъ онъ, не поднимая глазъ.

Но какъ итти безъ водки? Въ уныніи стоялъ



онъ у воротъ усадьбы, смотрѣлъ на закатъ. По дорогѣ, наискось пролегавшей по горѣ, и сверху и снизу ѣхали съ косьбы и вязки мужики и бабы на пыльных телѣгахъ; изъ телѣгъ торчали перевясла, косы и грабли. Малиновое, безъ лучей, солнце сѣло огромнымъ кругомъ въ сизую сухую муть за рѣкой, за полями, уже покрытыми звеньями копенъ. Игнатъ вышелъ изъ воротъ, повернулъ на выгонъ, потомъ, мимо сада, къ гумну. Впереди его мелко перебирала босыми ножками по пыли очень грязная и кудрявая дѣвочка, лѣтъ семи. Перегнувшись на лѣво, она правой рукой тащила дегтярницу, облистую красно-коричневымъ дегтемъ. Игнатъ ускорилъ шагъ, догналъ ее, оглянулся — и схватилъ ее лѣвый кулачокъ, въ которомъ были зажаты деньги. Глаза ее стали круглыми отъ ужаса, личико исказилось, она заголосила и, съ силой звѣрька, стиснула кулачокъ. Игнатъ схватилъ ее за горло и повалилъ на дорогу. Дѣвочка захрипѣла и распустила пальчики. Игнатъ выгребъ изъ ее ладони деньги — тридцать копеекъ.

Купивъ водки, онъ пошелъ прямо къ лѣсу. Справа было жнивье, чуть бѣлѣющее въ сумракѣ поле, покрытое копнами. Слева, съ тускло чернѣющихъ пашенъ, съ равнины, дулъ теплый вѣтеръ. Впереди, надъ темной каймой лѣса, поднимался большой красный Марсъ. И пастухъ остановился. Онъ вдругъ вспомнилъ, что нынче должна пріѣхать барыня, что за нею послали тройку и подводу для вещей. И тотчасъ же, задержавъ дыханіе, услыхалъ далекій звонъ колѣкольчиковъ.

Казалось ему лѣтомъ, что минуетъ его то неизбѣжное, что должно быть. Но теперь онъ почувствовалъ, что нѣтъ, не бывать тому — не минуетъ.



Оно уже близилось, росло, надвигалось... И, постоявъ, онъ двинулся впередъ.

У перекрестка его оглушила звономъ, топотомъ копытъ и обдала пылью тройка. Онъ, сойдя съ дороги, пропустилъ ее и опять пошелъ. Вдали слышался глухой грохотъ телѣги. Онъ дѣлался все явственнѣй. И черезъ минуту увидѣлъ Игнатъ на тускломъ звѣздномъ небѣ дугу, лошадь, а за лошадью — сидящую въ телѣгѣ Любку. Она была лошадь вожжами и тряслась, прыгала, неслась прямо на него.

— Садись, подвезу! — крикнула она весело, сразу признавъ его въ сумракѣ.

Онъ повернулся, догналъ нагруженную чемоданами телѣгу, на бѣгу бокомъ вскочилъ на грядку...

Что говорила Любка, онъ не запомнилъ. Запомнилъ только первыя, ударившія его по сердцу слова, которыя она звонко и ласково выкрикнула сквозь грохотъ телѣги:

— Что жъ, очень соскучился по маѣ?

Запомнилъ только тотъ моментъ, когда онъ вдругъ схватилъ вожжи и, осадивъ лошадь, перекинулъ ноги въ телѣгу.

— Постой, — шопотомъ сказала Любка, но такъ просто, точно они жили уже много лѣтъ, и отъ этой простоты у него еще больше помутилось въ головѣ: — постой, юбку изомнешь... Дай хоть поправить-то...

### III

Прошло четыре года. Стоялъ декабрь. Игнатъ, отбывъ солдатчину, возвращался изъ города Василькова на родину.

Съ женой онъ жилъ всего три мѣсяца. Вскорѣ

послѣ той іюльской ночи, въ которую такъ неожиданно переломилась вся его судьба, Любка почувствовала себя беременной — и никогда не покидала его злая мысль, что только поэтому пошла она за него. Она говорила, что любитъ его, устроила его отца, больного старика, на барскомъ дворѣ скотникомъ; одѣла и снарядила его въ дорогу, провожала со слезами. Онъ жестоко избилъ ее, гуляя, куражась рекрутомъ, вымещая барчуковъ. Она отъ побоевъ даже скинула, но перенесла ихъ какъ должное. Когда его угнали въ Васильковъ, она часто посылала ему вмѣстѣ съ письмами деньги, письма писала ласковыя, обращаясь къ нему на вы. Но онъ не вѣрилъ ни единому слову ея, жилъ въ тоскѣ, въ непрестанной мукѣ, въ ревности, въ изобрѣтеніи самыхъ жестокихъ наказаній за предполагаемыя измѣны.

Бдучи на побывку два года тому назадъ, онъ всю дорогу думалъ, что убьетъ ее, ежели узнаетъ что плохое. Приѣхавъ и наведя справки на своей станціи, онъ узналъ, что Любка не отказывала только лѣнивому. Но она встрѣтила его такъ радостно, разувѣрила въ слухахъ такъ искренно и просто, что у него руки опустились. А чтобы и совсѣмъ успокоить его, заявила, что бросаетъ мѣсто на барскомъ дворѣ и переселяется въ избу, — будетъ ждать его дома, будетъ шить на машинкѣ и тѣмъ кормиться. И онъ уѣхалъ унылый и сбитый съ толку. Унылъ, молчаливъ былъ онъ и на службѣ, но исполнительнъ, исправенъ и бережливъ: копилъ деньги, взятки съ молодыхъ солдатъ. Все еще жила въ немъ надежда сравняться съ Любкой, стать достойнымъ ея настоящей, а не притворной любви. Но вдругъ письма отъ нея

перестали приходить. Онъ писалъ чуть не каждую недѣлю—отвѣта не было. Онъ грозилъ, молилъ—она молчала. Онъ опять сталъ пьянствовать—и оступѣлъ, измучился.

Все же, отслуживъ свой срокъ, онъ ѣхалъ въ Извалы.

Онъ очень измѣнился. Теперь онъ былъ сухъ, довольно высокъ и ладенъ. Оловянные глаза его стали больше, лицо посѣрѣло и казалось еще худѣе отъ блестящихъ послѣ бритья маслаковъ около оттопыренныхъ круглыхъ ушей. Красноватые усы онъ стригъ щеткой, голову—бобрикомъ, и кожа просвѣчивала въ его короткихъ стальныхъ волосахъ. Отъ Кіева до Орла онъ неподвижно сидѣлъ въ вагонѣ возлѣ своего грубо раздѣланнаго подъ орѣхъ сундучка съ привязанными къ нему сапогами, чайникомъ и трубкой бѣлаго войлока, не снималъ ни фуражки, ни грубой сѣро-рыжей шинели, натиравшей шею, смотрѣлъ въ полъ и грызъ подсолнухи. Отъ Орла онъ сталъ тревожиться, выходить на станціяхъ къ буфету. На вокзалѣ въ своемъ городѣ онъ неожиданно встрѣтился съ бывшимъ товарищемъ по службѣ, выпилъ, оставилъ сундучокъ у сторожа, и товарищъ вывелъ его на вокзальное крыльцо, нанялъ извозчика-старика, а старикъ во весь духъ треногой кобылы помчалъ ихъ, возбужденныхъ, курившихъ папиросу за папиросой, въ городъ. Проѣхали они прямо въ слободу—и тамъ Игнатъ почти сутки не разставался съ маленькой, коротконогой, пожилой, съ черными сухими волосами и сильно напудренной брюнеткой, курившей еще жаднѣе его. Очнулся же онъ въ полъ, возлѣ слободы—и съ трудомъ вспомнилъ, что его тяжело били, выталкивая. Былъ мягкій

бѣлый день, шелъ снѣжокъ и застрѣвалъ въ складкахъ его шинели. Онъ всталъ, шатаясь, чувствуя себя больнымъ, точно отравленнымъ...

Бхать до Извалъ пришлось въ вагонѣ товарнаго поѣзда, вмѣстѣ съ сидящими отъ жира на задахъ заводскими свиньями. Свиней везли богатому помѣщику на племя, провожалъ ихъ дряхлый садовникъ помѣщика, чистый и тихій, бывшій дворовый. Но, кромѣ него, Игната и свиней, бхалъ въ товарномъ вагонѣ еще еврей, сѣро-сѣдой, кудрявый, большеголовый и бородатый, въ очкахъ, въ полуцилиндрѣ, въ длинномъ, до пять пальто, мѣстами еще синемъ, а мѣстами уже голубомъ, съ очень низкими карманами. Онъ все время молчалъ, былъ задумчиво-озабоченъ, нылъ какой-то напѣвъ и пилъ чай. Садовникъ дремалъ. Свиньи сидѣли на задахъ въ деревянной загородкѣ, покрытыя сѣрыми попонами съ вензелями и коронами. Смеркалось, вѣтеръ съ снѣгомъ дулъ въ отворенную дверь и задиралъ мокрую, темно-зеленую солому подъ свиньями. Плыли мимо мутно-бѣлыя поля, темнѣвшіе кустарники, медленно курившіеся дымомъ, падавшимъ на нихъ отъ паровоза. И тяжелая, неразрѣшающаяся тоска давила Игната. Повязавшись вдвое сложеннымъ башлыкомъ съ оранжевыми каемками, сдвинувъ брови, стиснувъ зубы, играя маслаками, онъ стоялъ у двери, выгребалъ изъ кармановъ забившіеся въ нихъ подсолнухи, грызъ и косился на еврея. Еврей сидѣлъ на опрокинутомъ ящикѣ, держалъ въ большой, покрытой крупными лиловыми жилами рукъ стаканъ чаю. Шелуха подсолнуховъ летѣла по вѣтру, попала въ чай. Еврей долго, съ раздраженіемъ смотрѣлъ сквозь очки на Игната. Игнатъ ждалъ, что скажетъ



еврей, чтобы ударить его послѣ первыхъ же словъ сапогомъ въ грудь. Но еврей ничего не сказалъ: только приподнялся и вылилъ чай возлѣ самыхъ ногъ Игната, возлѣ его плоскихъ и широкихъ казенныхъ сапогъ.

На станціи попутчиковъ до села не оказалось. И пришлось сидѣть, ждать, не навернется ли кто случайно.

Оледянѣли его руки, помутилась голова, когда, въ половинѣ одиннадцатаго, медленно надвинулся на него такой знакомый, такой особенный вокзалъ съ его народомъ и освѣщенными окнами. Только-что ушелъ пассажирскій поѣздъ. Въ залѣ третьяго класса, холодномъ, полутемномъ, тускломъ отъ дыма и потномъ отъ дыханія, нужно было пробиваться плечомъ—такъ много толпилось въ немъ на мокромъ полу мужиковъ. Между двойными дверями стоялъ на полу коптившій фонарь. Двери поминутно съ визгомъ отворялись, хлопали—и свѣжій, легкій морозный воздухъ, врываясь въ угарный, вонючій залъ, волновалъ клубы бѣлаго пара надъ ведернымъ самоваромъ на буфетѣ. Изъ отворенной, ярко и горячо освѣщенной конторы, гдѣ были касса и телеграфъ, не смолкая ни на секунду, дребезжалъ и звенѣлъ какой-то звонокъ, какъ будто кто завелъ и забылъ остановить будильникъ. И отъ многолюдства, отъ этого звонка у Игната ломило въ темени.

Разспрашивалъ онъ, нѣтъ ли попутчиковъ, машинально ходилъ, какъ лунатикъ, но видѣлъ все и замѣчалъ съ необыкновенной зоркостью. Толпа армяковъ и полушубковъ рѣдѣла. Игнатъ вышелъ на крыльцо, посмотрѣлъ, сторонясь, пропуская мимо себя выходящихъ и разговаривающихъ,



на лошадей, на сани, на мутно-лунное небо, выкурилъ цыгарку, глубоко вдыхая вмѣстѣ съ дымомъ сладкій зимній деревенскій воздухъ, и вернулся за своимъ сундучкомъ. Уже буфетчикъ постепенно, по порядку, съ края, убиралъ со стойки апельсины, папиросы, тарелки съ колбасами, потный, сухой кусокъ сыра. Начальникъ станціи подъ руку провелъ большую старуху-помѣщицу въ шубѣ, опиравшуюся на костыль. Въ отворенную дверь видна была блѣдная, но веселая лунная ночь, деревья въ инеѣ. Лошади, стоявшія у крыльца, встряхивались, бормотали глухарями. Потомъ глухари загромыхали всѣ сразу, заскрипѣлъ снѣгъ подъ полозьями... Въ залѣ осталась только баба въ новомъ оранжевомъ полупшубѣ, неподвижно сидѣвшая на длинномъ деревянномъ диванѣ у стѣны, на которомъ стоялъ сундучокъ Игната. Задомъ подойдя къ дивану, Игнатъ присѣлъ, взвалилъ сундучокъ себѣ на спину и, думая о той веснѣ, когда онъ жилъ съ дурочкой, а былъ беззаботенъ, свободенъ, сладко напивался, закусывая холодными картошками, вышелъ изъ вокзала.

Шагалъ онъ твердо, ровно и споро, повизгивая по снѣгу сапогами, свѣтлая снѣжная ночь была вокругъ него. Шелъ онъ сперва подъ какими-то низкими деревьями, съ которыхъ таинственно сыпался иней, потомъ по снѣжному пустому полю. Въ полѣ было мертво и тихо, луна крылась за легкими облаками, дорога чуть темнѣла... И отъ своихъ смутныхъ думъ очнувшись онъ уже въ Извалахъ, почувствовавъ, что вошелъ въ большую, просторно раскинутую и давно спящую деревню. Ни одного огня не было въ занесенныхъ снѣгомъ

избахъ. Слабыя тѣни лежали на бѣлой дорогѣ отъ водовозокъ и пунекъ. Еще тише и теплѣе стало, чѣмъ въ полѣ, воздухъ — еще слаще и пахучѣе. По дворамъ уже пѣли пѣтухи.

Возлѣ своей пустой избы, на краю деревни, надъ оврагомъ, онъ постоялъ, не зная, что дальше дѣлать. Маленькая, она была наполовину занесена съ южной стороны мятелями. Дверь на замкѣ, одно окно забито дощечками. Острый сугробъ, покрытый слѣдомъ лаптей, поднимался возлѣ открытыхъ воротъ во дворъ, переходилъ черезъ крышу. Игнатъ пошелъ по слѣду, заглянулъ внутрь двора. Въ раскрытой закутѣ непріютно ночевала чья-то телушка...

Невдалекѣ, въ избѣ Марей, свѣтился низкій огонекъ — изъ окошечка, почти сровнявшагося съ высокой снѣжной улицей. Онъ заглянулъ въ окошечко. Чуть не всю избу занималъ станъ. Нѣмая, съ тугимъ румянымъ лицомъ, дѣвка ткала краснѣ, гремѣла станомъ. Игнатъ стукнулъ. Дѣвка взглянула со страхомъ и удивленіемъ. Онъ вошелъ въ избу. Дѣвка дергала за оборку торчавшаго съ печи лаптя, будя отца. Онъ долго не откликался, только откашливался. Потомъ сталъ слѣзать — задомъ, ища лаптемъ печурку. Слѣзъ и по стѣнѣ, стараясь не наступать на одну, видно, больную ногу, дошелъ до скамейки возлѣ стола. Бородатый, лохматый, съ выпуклыми кровянистыми глазами и хрипучимъ голосомъ, видъ онъ имѣлъ шальной. Игнатъ поставилъ сундукъ у двери, сѣлъ къ столу. Дѣвка, поджавъ руки, стояла у печки. А Марей, попросивъ закурить, затягиваясь такъ, что дымилась вся его борода, говорилъ:

— Хозяйку твою видалъ... Видалъ, какъ же...

Изъ церкви пла... Дома жить не пожелала, все у господъ... Ихъ давно нѣтути, въ Москвѣ, говорятъ, она приказчика согнала, всеѣмъ домомъ править, въ икономки записалась... Не по закону живетъ, не по закону...

— Знаю, знаю,—сказалъ Игнатъ, что-то думая, выскребая ногтемъ грязь изъ трещинъ стола.

— Извѣстно, знаешь... Ну, потращаешь—бросить. Потращать можно... Я вотъ и свою просваталъ, да робость беретъ... Онъ вдовецъ, вдовый... Да ну-ка откажется? „На кой, молъ, чортъ нужна такая-то“... А она хоть чисто сказать не можетъ, а на черную работу хороша, не покорю... Ты вотъ подхватилъ хорошую, анъ дѣло-то хуже вышло... Не пара, значить, оказалась. Руби, значить, дерево по себѣ...

— Я сундукъ у тебя пока оставлю, — сказалъ Игнатъ, не поднимая глазъ.

— Это можно... Оставь... Оставить можно, — согласился Марей.

И на порогъ вышелъ проводить Игната. Холодноѣло, ясноѣло. Темно синѣя въ вышинѣ, межъ облаковъ, расчищалось небо. Бѣлое поле за снѣжными оврагами посизѣло. Мѣсяцъ, чистый, полный, выкатывался на просторъ, косая бѣлая туча съ оранжевымъ полукругомъ, падавшимъ на нее отъ мѣсяца, сдвигалась къ горизонту, къ сѣверо-западу. Тѣни отъ водовозокъ стали рѣзче, улица заискрилась.

— Зима обозначается, — хрипло сказалъ Марей, высовывая голову изъ низкой двери темныхъ сѣнецъ на свѣтлую улицу и вдыхая пахучую свѣжесть.

И опять твердымъ шагомъ пошелъ Игнатъ, не поворачивая завязанной башлыкомъ головы. Пройдя

версты двѣ по деревнямъ, выйдя на лугъ, на дорогу въ гору, онъ увидалъ на горѣ знакомую усадьбу, темный палисадникъ во дворѣ и четыре освѣщенныхъ окна за нимъ. Но пошелъ онъ къ нижнему саду, спускавшемуся по горѣ отъ усадьбы до самаго луга, вошелъ въ его ворота, перешелъ по плотинѣ занесенной снѣгомъ сажалки, направляясь къ длинной и мрачной бревенчатой избѣ скотнаго двора, чернѣвшаго въ глубинѣ сада, подъ вѣковыми деревьями. Небо надъ нимъ было синее, бездонное, съ рѣдкими, крупными звѣздами. Мѣсяцъ катился въ вышинѣ справа. Впереди, среди свѣта и тѣней, то сядя на заднія лапки и поднимая торчкомъ уши, то дѣлая короткіе прыжки, двигался заяцъ, пробираясь на золотую поляну за сажалкой. Красно-золотой звѣздой казался огонь въ избѣ подъ деревьями.

Почему не спать, почему такъ пристально посматрѣлъ на Игната тотъ блѣдно-голубой лицомъ, бѣловолосый, двухголовый пастушонокъ, что отворилъ дверь этой большой, очень теплой избы? Надъ столомъ привѣшена была къ ея блестящему, какъ каменный уголь, потолку лампочка. Въ переднемъ углу—олеографія въ рамкѣ: Николай угодникъ въ малиновомъ одѣяніи, съ фіолетовой бордой. Бѣлая коростовая свинка ходила по липкому земляному полу, хрустѣла, катала что-то по зубамъ. Въ загородкѣ возлѣ печи стояли телята, коричневые и желто-бѣлые. Они не спали, клали морды съ широкими, нѣжными, влажно-розовыми носами на загородку, смотрѣли ясными глазами, мочились тонкими, прямыми свѣтлыми струйками. Отдавало отъ нихъ запахомъ мокрой коровьей шерсти, молокомъ парнымъ, какимъ-то утробнымъ



тепломъ,—и долго вспоминалъ потомъ Игнатъ этотъ запахъ, простой, успокаивающій, а вслѣдъ за нимъ — старика-отца. На кровати возлѣ загородки сидѣлъ онъ, спустивъ блѣдныя волосатыя ноги въ узкихъ синихъ порткахъ, лысѣющій со лба, худой, какъ скелетъ, и, положивъ большія руки на колѣни, важно закрывъ глаза и обративъ лицо къ иконѣ, шепталъ что-то.

— Онъ у насъ сумасходный,—тихо сказалъ па-  
стушонокъ, во всѣ глаза глядя на Игната.—Дюже  
старъ сталъ.

И услыхавъ его голосъ, чувствуя чье-то при-  
сутствіе, еще выше, важнѣе и печальнѣе откинулъ  
старикъ голову, свой тонкій, горбившійся отъ ху-  
добы носъ.

— Богъ благословитъ, Богъ благословитъ,—про-  
бормоталъ онъ.

Обнаживъ стриженую, въ стѣнкахъ башлыка,  
голову, но забывъ поздороваться съ отцомъ, Игнатъ  
спросилъ мальчика:

— Любовь въ домѣ?

— Въ домѣ, въ домѣ, — поспѣшно отозвался  
тотъ.—Къ ней купецъ пріѣхалъ.

Игнатъ надѣлъ фуражку, вышелъ изъ избы и  
пологой горой, черезъ фруктовый садъ, по заячьимъ  
тропинкамъ, среди яблонь и свѣтлыхъ полянъ, ис-  
пещренныхъ тѣнями, быстро дошелъ до калитки  
на барскій дворъ, откинулъ ее и, согнувшись, уто-  
пая въ снѣгу, перебѣжалъ въ зеленоватый сумракъ  
палисадника. И тотчасъ же за маленькимъ окномъ  
прихожей увидѣлъ жену.

Но за стѣной дома вдругъ глухо залаяла со-  
бака. Онъ отскочилъ — и застылъ, замеръ, при-  
жавшись къ стѣнѣ.



#### IV

Поставивъ въ темныхъ сѣняхъ самоваръ, она сидѣла въ прихожей съ перегородкой, выбѣленной мѣломъ, штопала чулокъ у стеариноваго огарка, горѣвшаго въ позеленѣвшемъ мѣдномъ подсвѣчникѣ на подоконникѣ. Пожилой казалась теперь эта красивая черноглазая женщина въ красной кофтѣ, съ полными, мягкими грудями, въ бѣломъ платочкѣ, подъ который уходилъ среди черныхъ волосъ широкій проборъ.

Двѣ большія тѣни, одна лилово-темная, другая свѣтлѣе, падали отъ нея на перегородку, поднимались на потолокъ. Когда подошелъ подъ окно Игнатъ, она, задумчиво склонивъ голову на бокъ, поглядѣла на заштопанную пятку чулка и вынула изъ него старинную серебряную суповую ложку. Бѣлый, въ коричневыхъ пятнахъ пойнтерьъ, спавшій въ залѣ въ углу, на репсовой каретной подушкѣ, вдругъ басомъ брехнулъ, вскочилъ и съ гремящимъ лаемъ, стуча когтями по паркету, побѣжалъ къ прихожей. Любка живо и серьезно взглянула на дверь въ залъ. Потомъ, загородивъ ладонью щеку отъ огня, прильнула къ стеклу.

— Кто тамъ? — сказала она громко, съ хозяйственной строгостью, но тревожно, отдирая сперва одну, потомъ другую примерзшую форточку и заглядывая въ открывшійся, пустой, полный легкаго морознаго воздуха, квадратъ.

Свѣтлая ночь, все звончѣющая надъ мертвой бѣлой окрестностью, надъ давно снящими деревнями, надъ застывшей въ молчаніи усадьбой, надъ живописными и неподвижными подъ звѣзднымъ небомъ садами, крѣпла, достигала своей высшей кра-

соты и силы. Пятна свѣта на снѣгу въ сумракѣ палисадника горѣли зеленовато. Мѣсяца не было видно, — только поднявъ голову, увидала Любка сквозь вѣтви сосенъ его зеркальный кругъ. За стволами просторно бѣлѣлъ свѣтлый дворъ, и свѣжая колея, прорѣзанная по немъ санками купца, недавно взрытый и уже затвердѣвшій слѣдъ розово сверкалъ. Любка, приглядываясь, сдвинула пьявки черныхъ бровей. Но только на мгновенье смутной тревогой дошло до нея въ этой полнотной тишинѣ присутствіе человѣка, такъ близко отъ нея прижавшагося къ стѣнѣ. Она подождала отвѣта, захлопнула фортки и пошла въ залъ накрывать на столъ.

Въ прохладномъ большомъ залѣ было сдвинуто много мебели, много стульевъ и старинныхъ креселъ. У той стѣны, гдѣ была дверь въ прихожую, стоялъ рояль. Высокія двери въ гостиную были закрыты. Между ними и угловой кафельной печкой чернѣлъ шелушившійся портретъ въ золотой, прихотливой рамѣ. Столъ у стѣны противъ оконъ освѣщала на цѣпяхъ спускавшаяся съ потолка лампа.

Проѣзжавшій изъ города въ купленный на срубъ милютинскій лѣсокъ и ночевавшій въ усадьбѣ купецъ былъ невысокій, тяжелый человѣкъ, въ черной бородѣ съ бурымъ подсѣдомъ и черными косыми глазками. Разстегнувъ только верхніе крючки сизаго, очень полнаго и вонючаго романовскаго полушубка, отвернувъ на груди пышную дымчатую овчину, онъ, мягко ступая черными поярковыми валенками, бродилъ по залу, разсматривалъ мебель, шифоньерки, бронзоваго коня подъ стекляннымъ колпакомъ на подзеркальникѣ. Возлѣ печи

возилась мышь, стараясь протащить въ маленькую щелку пола большой кусокъ лепешки. Купецъ за-смотрѣлся на мышь. Вскочивъ, басомъ забрежалъ пойнтеръ, — и онъ съ легкой улыбкой удивленія и удовольствія послушалъ, какъ отдалось въ пустомъ домѣ и зазвенѣли мѣдныя струны рояля; онъ приподнялъ его крышку, попробовалъ безыменнымъ пальцемъ въ разныхъ мѣстахъ клавиши...

— Хорошо у васъ тутъ, тихо, — сказалъ онъ входившей и выходившей Любкѣ.

— Скучно, — отвѣтила Любка, чуть усмѣхнувшись.

Она накрыла столъ, принесла вазочку съ зеленымъ вареньемъ, солонку, въ которой соль была перемѣшана съ крошками хлѣба, тарелку съ кускомъ солонины, радужно-ржавой, въ застывшемъ жирѣ, похожемъ на вату, и бутылку водки, съ матовымъ отъ мороза налетомъ на стеклѣ.

— А ты бы забаву какую-нибудь приискала себѣ, — сказалъ купецъ, привычно намекая на то, на что все намекаютъ.

— И то правда, — тоже привычнымъ, беззаботнымъ тономъ отвѣтила Любка.

Теперь уже не было прежней живости въ ея отвѣтахъ. Она стала спокойнѣе, говорила меньше, проще и грубѣе, привыкнувъ распоряжаться и ругаться съ работниками, отвыкая отъ господъ. Ограниченная, она казалась умной, благодаря этому умѣнію, присущему женщинамъ, подобнымъ ей, не говорить лишняго, и звѣриной ихъ смѣтливости.

Когда она принесла и, высоко поднявъ, поставила на столъ самоваръ, купецъ пролѣзъ за столъ на новый вѣнскій диванъ, не спуская косыхъ глазъ съ ея груди. Она въ бокъ блеснула смуглыми

бѣлками и, съ равнодушнымъ видомъ, не спѣша, отошла, стала, какъ бы грѣясь, къ холодной печкѣ. Купецъ осторожно и неловко, надъ столомъ, сдвинувъ рукавъ полушубка съ круглившейся изъ него дымчатой густой шерстью и взявъ ножъ въ лѣвую руку, а вилку въ правую. Любка и это замѣтила. „Лѣвша,—подумала она:—распутный, небось“. Но опять грубо забрежалъ пойнтеръ, глядя въ прихожую, и она опять тревожно прислушалась.

— На кого это онъ все?—спросилъ купецъ, выпивъ, раздувая ноздри. Какъ отзывается,—сказалъ онъ, послушавъ.—Не домъ, а органъ.

— Да все, небось, этотъ пьяница патается, мужъ скотницы нашей,—отвѣтила она и, подумавъ, насмѣшливо улыбнулась. — Тутъ такая потѣха идетъ, не приведи Богъ.

Купецъ, отрѣзая кусочекъ солонины и намазывая его горчицей, равнодушно воскликнулъ:

— Да что ты!

— Ей-Богу,—сказала Любка.—Закружилась тутъ съ однимъ, да и другимъ не отказываетъ. Ну, онъ и ходитъ. Грѣхъ судить, а только дойдетъ у нихъ дѣло до бѣды.

— Что жъ, еще дружка себѣ нашла?

— Да ай ихъ мало! — сказала Любка, думая не о скотницѣ, а о себѣ и о своемъ любовникѣ, портномъ изъ Шатилова, бѣшено ревновавшемъ и все грозившемъ убить ее. — Только онъ не туда попадаетъ...

Говоря, она косилась на окно воздѣ дверей въ гостиную. Во всѣхъ окнахъ зелено и остро искрились обледянѣвшія нижнія стекла. Въ это окно, незамерзшее, видны были рѣдкія звѣзды на синемъ глубокомъ небѣ, зеленъ палисадника и застрѣха въ



си́гу. Купецъ ѣлъ, что-то обдумывая. Любка слабо вѣвнула и опять заговорила:

— А, должно, здоровый морозъ будетъ. Куда въ даль такъ-то поѣхать, замерзнешь.

— Очень просто, — сказалъ купецъ и посмотрѣлъ на пойнтера, положившаго морду на лапы. — А собака эта чья же?

— Да барина нашего молодого, Николай Кузьмича, — сказала Любка. — Надоѣла до крайности. На дворъ никакъ не можетъ жить, нѣжна очень. Голая вся. Два раза въ недѣлю купаю, пропасти на нее нѣту. Онъ у насъ чудакъ какой-то.

— Да и дуракъ, можно сказать, хорошій, — вставилъ купецъ.

— Дуракъ, нѣтъ ли, не мое бабье дѣло судить, — сказала Любка, думая, что такой скромный отвѣтъ понравится купцу. — Только, правда, никуда не гожається и дома не живетъ, а объ собакѣ въ каждомъ письмѣ пишеть, беспокоится.

— А ты ужъ давно здѣсь проживаешь?

— Давно. Седьмой годъ, никакъ.

— И довольна, значить?

— Да чего жъ мнѣ? Сама себѣ голова. Они, господа-то, почестъ, и не живутъ тутъ.

— Мужъ-то въ солдатахъ?

— Въ солдатахъ.

— И на войну не попалъ?

Любка засмѣялась, глядя въ потолокъ, держа руки за спиною, какъ бы грѣя ихъ.

— Они, такіе-то, счастливые, черти, — сказала она, смѣясь.

— И отслужится, небось, скоро?

— То-то и бѣда, что скоро. Все писалъ, грозилъ: сопьюсь. А мнѣ какая забота? Самъ же будешь



подъ заборомъ лежать, — сказала Любка то, что часто говорила портному. — И опять же ревнивъ, надоѣлъ своей любовью досмерти... Все, бывало, грозить — убью, а скажи ласковое слово — сейчасъ слюни распустишь. Да что жъ, и убьетъ... Ночью, когда такъ-то кобель забрепаетъ, жутко, правда...

— Ты жаловаться на него имѣешь право, — сказалъ купецъ. — Это время прошло, чтобы сдуру, здорово живешь, людей бить.

Онъ съѣлъ всю солонину, обрѣзая ватный жиръ, допилъ водку. Глаза его стали маслянистыѣй, полупубокъ онъ разстегнулъ. Икая, онъ вынулъ изъ кармана красную осьмушку табаку, камышевый мундштукъ, книжечку папиросной бумаги, аккуратно раскрылъ ее, отдулъ одинъ листикъ, свернулъ своими короткими пальцами съ выпуклыми, круглыми ногтями толстую папиросу и съ наслаждениемъ закурилъ.

— Давно замужъ-то вышла? — спросилъ онъ съ мутной усмѣшкой.

— Пятый годъ пошелъ.

— А дѣтей не было?

Не было.

— Почему же такъ? Ты вѣдь, думается, здорова, хороша была?

— Страшная хорошая! — сказала Любка, польщенная, но улыбаясь насмѣшливо, и начала врать: — А ужъ это, видно, не моя вина, я сама по дѣтяхъ скучаю. Значить, онъ чѣмъ-нибудь испорченъ, а моя какая можетъ быть вина? Онъ на то и зло на меня имѣетъ, на то и обижается. А я смолоду горячая была, — искусаю его, бывало, до синяковъ, а у него старанья много, а все безъ толку... Плохая наша бабья доля, — сказала она.

Купецъ уставился на нее прищуренными глазами. Затыгивался онъ все глубже, пуская дымъ въ потолокъ.

— Это вѣрно, — сказалъ онъ, не зная, что говорить. — Да что ты все около печки-то спасаешься?

Сдерживая улыбку, Любка отвѣтила съ дѣланной простотой:

— А гдѣ жъ мнѣ стоять? Мое мѣсто тутъ.

— Къ столу садись, — сказалъ купецъ. — Тутъ лучше согрѣешься. Будетъ каляниться-то, авось, я не взыщу.

— Не взыщете, такъ сяду, — отвѣтила Любка съ игривой скромностью и сѣла къ столу на стулъ.

Она понимала, что купецъ началъ томиться, не зная, какъ приступить къ дѣлу. Купецъ, отвалиясь къ спинкѣ дивана, порою вздыхалъ, отдувался, закрывая глаза и хмуро улыбаясь, порою тяжело смотрѣлъ на ея грудь, проборъ, — и глаза его то стеклянѣли, то вспыхивали. Дѣлая видъ, что она ничего не замѣчаетъ, Любка, опустивъ рѣсницы, пила жидкій чай съ лимономъ, скромно вытирала концомъ головного платка потѣющую верхнюю губу, покрытую чернымъ пушкомъ. Купецъ вздохнулъ еще шумнѣе и вдругъ, не глядя на нее, сталъ торопливо и неловко разстегивать своей крѣпкой маленькой рукой пазуху синей фланелевой рубахи, подъ которой былъ жилетъ. Разстегнувъ и жилетъ, онъ запустилъ руку во внутреннй боковой карманъ и вытащилъ бумажникъ. Любка сдвинула пальцемъ тонкій ломтикъ лимона къ краю блюда, положила его въ ротъ и стала высасывать, не въ мѣру морщаась, дѣлая видъ, что чувствуетъ только одно — острую кислоту. Мгновенно замѣтила она, что бумажникъ очень толстый и потертый, быстрымъ взглядомъ

окинула пухлую пачку розовыхъ кредитокъ, которую вынулъ купецъ изъ бумажника. Отдѣливъ одну кредитку, склеенную бумажной ленточкой, спрятавъ остальные, онъ сталъ лѣвой рукой пихать бумажникъ обратно, а правую ковшикомъ положилъ на нее.

— Довольно, что ли? — спросилъ онъ.

Какъ будто ничего не понимая, Любка равнодушно взглянула на десятирублевку, потомъ перевела томно-пристальные глаза на него.

— Чтò говорю-то? — повторилъ онъ смѣло, почти грубо.

— Да чего жъ, — сказала она вдругъ съ такой простотой, что онъ слегка опѣшилъ. — И всё не святые.

Сунувъ деньги въ передній карманъ юбки, она поджала руки, навалилась на столъ и опять посмотрѣла на него долгимъ взглядомъ. Онъ, сконфузясь, не зная, чтò говорить и дѣлать, взялъ ее за правую руку, потянулъ за холодные концы корявыхъ снизу пальцевъ. Она отняла ихъ и, тоже не зная, чтò сказать, спросила:

— Чтò жъ сало-то не докушали?

И, взявъ оставшійся на тарелкѣ кусочекъ, положила его въ ротъ.

— А я люблю, — сказала она: — она сладкая, опричи если на сковородкѣ поджарить. — И засмѣялась: — Постъ, а мы жремъ... — И, помолчавъ, беззаботно добавила: — Ну, да авось, все одно въ аду кипѣть.

— За что же это? — спросилъ купецъ.

— Да за все. Наше мѣсто въ аду. Старые люди говорятъ, все одно изъ мужиковъ въ святые не выходятъ. Всегда изъ архиреевъ, алхимандритовъ.

И вдругъ, разгибаясь, рѣшительнымъ шопотомъ сказала:

— Ну, пойдѣмте, что ль...

## V

Игнатъ, стоя на снѣгу, давно не чувствовалъ ногъ, окаменѣла и голова его, насквозь промерзла, стала тонкой, ледяной шинель. Сперва онъ пошевеливалъ пальцами въ сапогахъ, двигалъ плечами. Потомъ уже не обращалъ вниманія на то, что все послѣднее тепло сосредоточилось и дрожало у него гдѣ-то подъ ложечкой, что стали деревянными губы, обросли инеемъ края башлыка, рѣсницы и усы.

Онъ не замѣчалъ времени, весь поглощенъ былъ страстнымъ желаніемъ, чтобы оправдались его подозрѣнія. Пропѣли вторые пѣтухи. Сила, свѣтъ, красота ночи стали ослабѣвать. Мѣсяцъ, блѣднѣя, склонялся къ западу. Оріонъ, три поперечныхъ звѣзды его низко стояли на юго-западномъ горизонтѣ серебряными пуговицами, стали больше и ярче. Отъ людской, надъ которой склонялся мѣсяцъ, пала, полѣдвора захватила тѣнь. Было такъ морозно и тихо, что слышно было, какъ трепыхались, возились на насѣстѣ ночевавшія въ сѣняхъ людской куры, какъ въ конюшнѣ мѣрно хрустѣла овсомъ лошадь купца, какъ потомъ она, съ глубокимъ вздохомъ, легла. Противъ крайняго незамерзшаго окна зала торчала изъ снѣга подъ нависшими вѣтвями ели скамейка. Снѣгъ, мѣстами атласный, мѣстами хрупкій, какъ соль, разсыпчатый и все твердѣвшій отъ мороза, визжалъ и хрустѣлъ при каждомъ, самомъ осторожномъ шагѣ.



Затаивая дыханіе, Игнатъ добрался до скамьи, сталъ на нее и, разведя руками глянцеvито-ледяную, пахучую зелень колкой хвои, все забытъ, увидавъ внутренность зала, увидавъ эту страшную для него, двигающуюся, что-то говорящую и улыбающуюся женщину и человѣка, бывшаго съ ней въ этотъ поздній часъ одинъ-на-одинъ во всемъ домѣ.

Но время шло, шло — и ничего особеннаго не происходило въ залѣ. Вотъ Любка сѣла наконецъ къ столу, и купецъ сталъ вынимать что-то изъ-за пазухи. Но что? Какъ ни напрягалъ Игнатъ зрѣнія, разглядѣть не могъ: мѣшалъ самоваръ, посуда... Вотъ Любка привстала, облокотилась на столъ, подвинулась къ купцу, и въ незастегнутый разрѣзъ ея платья сзади стала видна нижняя бѣлая юбка. И въ мірѣ настала такая тишина, что осталось въ немъ только бѣеніе сердца Игната. Вдругъ и оно куда-то провалилось — весь этотъ пустой и мертвый міръ ужасомъ наполнило бленіе дьявола. Игнатъ понялъ, что это заблелъ баранъ — очень далеко гдѣ-то, на деревнѣ. Но, должно-быть, и видъ у этого внезапно проснуvшагося въ самый мертвый часъ зимней ночи барана былъ дьявольскій, и хрипота въ его бленіи была дьявольская. Только дьяволъ и только въ роковой часъ могъ заревѣть такъ страшно. И въ тотъ же мигъ Любка разогнулась, быстро пошла по залу, къ двери, ведущей внутрь дома, за ней двинулся купецъ, — и легко, уже ничего не думая, Игнатъ соскочилъ со скамейки и побѣжалъ подъ елями въ сторону, противоположную парадному крыльцу, чтобы, обогнувъ домъ, вскочить въ него съ задняго. На пустой синевѣ небосклона съ новыми,

предутренними звѣздами, сквозилъ, чернѣя, потонувшій въ снѣгахъ, низкій фруктовый садъ. Еще давеча замѣтилъ Игнатъ, выходя изъ калитки, кучи хвороста между нею и домомъ. Въ хворостѣ всегда валялся топоръ. И, добѣжавъ до хвороста, Игнатъ кинулся искать этотъ знакомый, зазубренный, ржавый топорикъ со скользкой рукояткой, — сталъ шарить, обдирая руки о ледяные прутья и обжигая ихъ о снѣгъ, синевато блестящій противъ низко опустившейся сонной луны.

Купецъ, нащупавъ въ карманѣ полшубка маленькій и, какъ камень, тяжелый револьверъ, вошелъ, между тѣмъ, въ темный коридоръ и протянулъ впередъ руки.

— Тутъ хворостъ на топку приготовленъ, не упадите, — сказала Любка, и онъ, наступая на сучки и съ трескомъ ломая ихъ, ощутилъ пріятный, горьковатый запахъ холодной дубовой коры и сухой лѣшвы въ снѣгу.

Любка остановилась, говоря: „это тутъ у насъ задняя прихожая“, пошарила по стѣнѣ и открыла дверь въ большую нежилую комнату, очень холодную, пахнущую ветчиной, освѣщенную двумя тускло синѣющими окнами съ незамерзшими верхними стеклами. Мѣсяцъ стоялъ далеко, съ другой стороны дома, въ этой комнатѣ было сумрачно, но все-таки купецъ разглядѣлъ окорока, висѣвшіе подъ потолкомъ, кадку съ соленнымъ саломъ, сепараторъ, слабо поблескивавшій никелемъ велосипедъ, бѣлѣющія на полу крынки и кровать у стѣны — деревянную, безъ перины, съ одной подушкой безъ наволочки. И, повернувшись, задомъ подвигаясь къ кровати, Любка опять предупредила, но уже таинственно, отвѣчающимъ моменту шопотомъ:

— Смотрите, не попадите въ масло...

Она стала такъ, чтобы удобнѣе было лечь, чтобы купцу можно было повалить ее. И у него сразу отнялись ноги отъ ея шопота. Она еще что-то шептала, ласково, съ дрожью въ голосѣ, но онъ уже не слушалъ, — онъ, охвативъ и прижимая къ себѣ ея тяжелое тѣло, толкалъ ее къ кровати все ближе, пока икры ея не уперлись въ нее, пока кровать не пришлась подъ самыя ея колѣни. И тутъ Любка, дотолѣ слабо сопротивлявшаяся, безмолвно повалилась. Она чувствовала боль отъ давленія часовъ и цѣпочки и одной рукой разглаживала густую, мягкую бороду, а другой крѣпко держала за указательный палецъ съ большимъ золотымъ перстнемъ. Она чувствовала вступающую въ тѣло сладкую муку, волны истомной силы, и, какъ бы сердясь, стала перекусывать волосъ бороды, закрывшей ея ротъ. Обѣими руками охватила она и крѣпко прижала къ себѣ бычью, сморщенную шею, лохматую голову... Но голова эта вдругъ поползла изъ-подъ рукъ внизъ, тѣлу Любки стало легко, а ногамъ больно отъ тяжести. Она приподнялась. Купецъ грузно сѣлъ на полъ, захрипѣлъ и упалъ навзничъ, мягко стукнувшись затылкомъ. Она вскочила и кинулась поднимать его. Но онъ дышалъ, какъ умирающій, хрипя и свистя горломъ, тѣло его, съ высокимъ, раздувающимся животомъ, было огромно и тяжело, какъ мертвое. И страхъ холодомъ облилъ ея голову.

Задрожавшими руками она стала срывать съ пуговицъ воротъ его фланелевой рубахи, растегнула поясъ съ серебрянымъ наборомъ. Потомъ схватила подушку съ кровати, бросила ее на полъ. Побѣжала въ прихожую, зажгла огарокъ, сунула

полотенце въ ведро съ водой и вернулась, освѣщая въ коридорѣ во все стороны кинувшихся крысъ. Поставивъ огарокъ на кровать, она накрыла полотенцемъ лобъ и закатившіеся глаза купца, съ ужасомъ глядя на его горой лежащее тѣло, на распахнутыя полы полушубка и на бѣлое полотенце на сизомъ лицѣ съ задранный кверху черной бородой. И вдругъ, какъ громъ, раздался стукъ двери. И, вскинувъ глаза, Любка окаменѣла, увидавъ надъ собой солдата, показавшагося ей чуть не до потолка ростомъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держалъ фуражку, а правой, отведенной назадъ, сжималъ топоръ. Сдѣлавъ къ Любкѣ шагъ, онъ быстро перехватилъ его рукоятку, но еще быстрѣе, ловя послѣднюю секунду, она твердымъ голосомъ приковала его къ мѣсту.

— Мой грѣхъ, — быстро сказала она. — Добивай скорѣй. Богаты будемъ. Тебѣ ничего не будетъ. Скажешь — захватилъ меня. Скорѣе!

Игнатъ глянулъ на ея сразу похудѣвшее, обрѣзавшееся лицо, на расширенныя и неподвижныя черныя глаза, на красную кофту и засученныя смуглыя, полныя руки — и со всего размаху ударилъ обухомъ въ мокрое полотенце.

---

При третьихъ пѣтухахъ въ людской уже горѣла лампа и топилась печь. Кухарка, сладко зѣвая, сидѣла противъ нея на лавкѣ, грѣлась и, не моргая, смотрѣла на жаркое разноцвѣтное пламя, окликаая спавшаго на печи Оедьку, работника купца, которому было приказано запрягать пораньше. Онъ, заспанный, мордастый, съ бѣлымъ на глазу, слѣзъ съ печи, зачерпнулъ изъ кадки корецъ ледяной воды, умылся изо рта, одной рукой, разодралъ



кухаркинымъ деревяннымъ гребнемъ свои сбитые густые волосы, покрестился въ уголъ, откашливаясь, залѣзъ за столъ, съѣлъ чугуничекъ горячихъ картошекъ, насыпавъ кучку соли на сырую доску стола и отрѣзавъ огромный ломоть хлѣба, потомъ ладно одѣлся, очень туго и низко подпоясавъ, закурилъ и бодро, повизгивая по морозному утреннему снѣгу нагольными, твердыми, какъ дерево, и рыжими отъ снѣга сапогами, мотая закопченнымъ фонаремъ, въ которомъ горѣлъ сальный огарокъ, пошелъ запрягать.

Допѣвали пѣтухи, ночь смѣшалась съ днемъ. Изъ неопредѣленнаго разсвѣтнаго сумрака съ утренней опредѣленностью выступали предметы. Снѣгъ на дворѣ, на крышахъ становился блѣдно-бѣлый, чуть синѣя. Блѣднѣло, расширялось и легкое небо за садомъ, за сквозными деревьями. Воздухъ былъ чистъ и остеръ, какъ эфиръ. Въ густой зеленой хвоѣ морозно-неподвижнаго палисадника возились проснувшіяся галки. А на западѣ еще чувствовалась ночь, ея тайны. Мертво блестѣлъ невысокій мѣсяцъ на сумрачномъ горизонтѣ, на синеватомъ небосклонѣ за снѣжной долиной рѣки. Отворивъ ворота сарая и поставивъ фонарь на старый, тяжелый фаэтонъ, загаженный курами и покрытый замерзшей еще съ осени грязью, Оедька взялся за холодныя оглобли маленькихъ крашенныхъ санокъ и, пятясь, скребя по мерзлой землѣ желѣзными подрѣзами, поволокъ ихъ изъ темноты за порогъ, на блѣдный свѣтъ утра. Снявъ затѣмъ съ деревяннаго колка, вбитаго въ каменную стѣну сарая, наборную узду, захвативъ изъ санокъ сѣделку, онъ пошелъ по твердому, длинному сугробу, мимо заткнутыхъ соломой и забитыхъ снѣгомъ окошечекъ

конюшни, къ деннику, гдѣ стоялъ тяжелый, мохноногій жеребецъ купца.

Въ навозномъ темномъ денникѣ было тепло, хорошо пахло лошадыю, ея свѣжимъ пометомъ и недоѣденнымъ сѣномъ. Широкій, весь курчавый и сѣдой отъ инея жеребецъ, услыхавъ стукъ двери, повернулъ голову на свѣтъ и легонько заржалъ. Оедька подошелъ къ нему — и онъ, играя, опустилъ голову. Оедька подвелъ узду подъ нее, — онъ согнулъ толстую шею въ косматой, жесткой гривѣ еще круче. И, мотая головой, поталкивая лбомъ въ грудь Оедькѣ, въ его тугой полушубокъ, долго не давался вложить удила. Наконецъ Оедька втолкнулъ ихъ въ раздавшіеся желтые зубы, обтеръ руку, испачканную слюной и пѣной, о хвостъ жеребца, дѣлая сразу два дѣла — обтирая руку и приглаживая, оправляя загнувшіеся кверху, зачесавшіеся волосы на рѣпкѣ, — и повелъ его къ водовозкѣ, поить.

Съ параднаго крыльца, изъ тихаго, съ мертвыми окнами, занесеннаго снѣгомъ дома вдругъ выскочила бѣлая, въ коричневыхъ пятнахъ собака. Отрывисто брехнувъ, она, какъ шальная, сдѣлала два круга возлѣ крыльца и опять кинулась въ домъ. Оедька съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее. Но жеребецъ тянулся къ кадкѣ съ водой, ударилъ мордой въ ледъ, покрывшій воду, пробилъ его — и вода слегка задымилась. Жеребецъ прильнулъ къ ней своими бархатными губами и, посапывая, долго-долго тянулъ ее; онъ отрывался, разгрызалъ льдинки, слегка повернувъ голову къ Оедькѣ, — и Оедька ласково, поощрительно посвистывалъ, глядя на его свѣтлый крупный глазъ и свѣтлыя капли, падавшія съ губъ.

— Ну, будя, навѣкъ все одно не напьешься, — сказалъ онъ звучнымъ голосомъ и повелъ жеребца къ санкамъ.

Совѣмъ свѣтло стало. Въ саду, въ голыхъ кустахъ, уже трещали воробьи. Небо за садомъ помутнѣло, окрасилось алооранжевымъ. Мѣсяцъ, краснѣя, садился за деревней, выдѣлившейся и бѣлѣвшей крышами на сумрачно-лиловомъ западѣ. Заложивъ жеребца, застегнувъ вожжи, Оедька, не выпуская ихъ изъ рукъ, кинулся къ сидѣнью, въ одну сторону, а жеребецъ, рванувъ съ мѣста, — въ другую. На бѣгу ввалившись въ санки, разодравъ ему удилами челюсти и на поворотѣ крѣпко взрѣзавъ подрѣзами разсыпчатый настъ, Оедька съ атласнымъ скрипомъ перевалился черезъ мягкій, новый сугробъ въ воротахъ и помчался въ поле, на свѣтлый, веселый востокъ — погрѣтъ лошадь.

И старый, тяжелый жеребецъ быстро запыхался. Оедька, сдѣлавъ версты полторы, обжегши лицо вострѣчнымъ острымъ вѣтромъ, широко завернулъ и шагомъ поѣхалъ обратно. Шагомъ вѣхалъ онъ во дворъ, направляясь къ парадному крыльцу — и вдругъ раскрылъ глаза и натянулъ вожжи: кухарка, съ плачемъ, исказивъ блѣдное при золотистомъ утреннемъ свѣтѣ лицо, бѣжала отъ крыльца къ людской, а на крыльцѣ сидѣлъ человѣкъ въ сѣро-рыжей шинели, въ башлыкѣ, стоякомъ завязанномъ вокругъ шеи, съ обнаженной стриженной головою. Наклоняя ее, онъ правой рукой сгребалъ съ сѣраго наста возлѣ ступенекъ свѣжій, бѣлый снѣгъ и прикладывалъ его къ темени.





СИЛА



Шелъ осенній, мгlistый дождь въ сумеркахъ. Прижавъ уши, стояла на барскомъ дворѣ, въ грязи возлѣ людской, донская кобыла, темная отъ дождя, худая, будылястая, съ тонкой длинной шеей, съ обвислымъ задомъ, съ подвязаннымъ хвостомъ, запряженная въ телѣжку, плетеный кузовъ которой былъ очень малъ по тяжелымъ дрогамъ и крѣпко ошинованнымъ колесамъ.

Мѣщанинъ Буравчикъ, пріѣхавшій въ этой телѣжкѣ къ старостѣ, не заставшій его дома и сидѣвшій въ людской за кубастымъ самоварчикомъ красной мѣди, былъ человѣкъ старенькій, ростомъ съ мальчика. Черепъ его былъ голъ и желтъ. Надъ ушами и по затылку курчавились остатки черныхъ жесткихъ волосъ. Курчавилась и борода его. Мокрые усы, прокопченные табачнымъ дымомъ, лѣзли въ добрый, беззубый ротъ. На темномъ морщинистомъ личикѣ, подъ сдвинутыми бровями, живо и весело блестѣли кофейные глазки. Онъ и хмурился и улыбался вмѣстѣ, тянулъ съ блюда горячую воду, сося кусочекъ сахара, и все шарилъ по впалой груди, ощупывая карманы вѣхаго длиннополаго сюртука, порывѣвшаго на лопаткахъ.

Горѣла надъ столомъ висячая лампочка.

Буравчикъ поглядывалъ на нее, — она коптила,—и безъ умолку говорилъ. А беременная старостиха, сидѣвшая на нарахъ у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевымъ пологомъ, похожую на маленькій шатеръ, разсѣянно слушала, думая свое и заводя глаза отъ дремоты.

— Вотъ они распарятся, разбрызнутъ, я ихъ и подберу, — говорилъ Буравчикъ, слегка шамкая, и схлебывалъ съ блюда, указывая на стаканъ, набитый разбухшими кусками кренделей. — Распарятся, тогда и съѣмъ. А такъ нѣтъ, не угрызу. Нечѣмъ.

И Буравчикъ, засмѣявшись, полѣзъ сухимъ, бурымъ отъ окурковъ пальцемъ въ ротъ.

— О! Ишь! — сказалъ онъ съ удовольствіемъ. — Ни аноо не аалось, — сказалъ онъ, желая сказать: „ни одного не осталось,“ и водя пальцемъ по голой розовой деснѣ.

— По какой же такой притчинѣ? — равнодушно спросила старостиха, съ трудомъ поднимая вѣки и думая о томъ, что этотъ веселый старичокъ въ обтертыхъ сапожкахъ и линючей розовой косовороткѣ пережилъ двухъ женъ, вырастилъ шестерыхъ сыновей, купилъ барское имѣніе подъ городомъ, а прежнихъ повадокъ все не кидаетъ — живетъ побирушкой, торгуетъ на селѣ въ лавчонкѣ, конокрадствуетъ и, говорятъ, вотъ-вотъ опять долженъ въ острогъ садиться.

Буравчикъ зорко глянулъ на старостиху, на ея большое сонное лицо.

— По какой притчинѣ-то? — отвѣтилъ онъ, вытирая палецъ о бортъ сюртука. — А совсѣмъ не по той, что ты думаешь. А совсѣмъ не по той. На



меня несутъ, брешутъ, какъ на мертваго, ну, а хоть бы и правда была, такъ не родился еще тотъ человѣкъ, сударыня, какой смѣлъ бы коснуться меня. Нѣ-ѣтъ, Богъ миловалъ! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вонъ шесть сыновъ-бугаевъ, озорнѣй ихъ, чертей, во всемъ селѣ нѣту, а ты глянь, какъ я ихъ вышколилъ: взгляду моего боятся! Пересолишь — хлебать не станешь, — прибавилъ онъ ни съ того ни съ сего одну изъ тѣхъ прибаутокъ, связь которыхъ съ предыдущей рѣчью очень часто оставалась совершенно непонятна его собесѣдникамъ. — Зубъ же я своихъ лишился потому, что дюже болѣли они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу въ роту подержать. Ты вотъ послушай, какую антимоію расскажу я тебѣ про эти самые зубы. Муженекъ твой, безъ сомнѣнія, застрялъ гдѣ-й-то, давай его, дружка милаго, ждать да бесѣдовать отъ скуки...

— Обѣщался къ вечеру быть, — сказала старостиха. — Да вишь грязь-то какая.

— А мы его подождемъ, — отвѣтилъ Буравчикъ и, поставивъ блюдце на столъ, полѣзъ въ боковой карманъ за кисетомъ съ махоркой. — А мы его подождемъ. Да. Исторія же эта самая такого рода была...

И не спѣша, съ удовольствіемъ сталъ рассказывать. Черепъ его блестѣлъ отъ пота, брови хмурились, глаза блестѣли, выражая старческое довольство жизнью. „Безпремѣнно сынки его дѣльце какое-нибудь нынче въ ночь обработаютъ, — думала старостиха. — Для того онъ и изъ дому уѣхалъ.“ А Буравчикъ, свертывая цыгарку, рассказывалъ:

— Сила не въ зубахъ, сударыня моя. Зубастъ кобель, да простъ. Опять же и не въ медвѣдѣ

сила. У насъ на Руси силу въ пазухѣ носи... Да ты вотъ лучше послушай. Въ нѣкоторомъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, ѣхали мы разъ, сударыня, съ возами своими по бѣлевской по большой дорогѣ. А нужно тебѣ замѣтить, что мы тогда съ братомъ Егоромъ коробошниками были, кампанировали съ нимъ по этой части да денежки плутовствомъ наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпѣли отъ этихъ отъ самыхъ дождей и холодовъ. Вотъ и тутъ тоже подобное случилось: ѣдемъ мы, ѣдемъ, а дождь, Господь съ нимъ, какъ зарядилъ съ утра, да такъ до вечера и остался. Холить насъ да холить, будто за хорошую цѣну нанялся, и до того добилъ, искоренилъ, что повернули мы, не долго думая, въ лѣсъ какой-то встрѣчный, къ караулкѣ. Надуваемся, полземъ, ломимъ цѣликомъ, а по лѣсу, понимаешь, какъ мга какая отъ дождя синѣетъ, а отъ лошадей альни дымъ валить: накаталось на колѣса \*грязи этой самой съ листьями — чертямъ невпроворотъ! Подъѣзжаемъ, наконецъ того...

Буравчикъ хлебнулъ съ блюда и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломѣ въ сѣнцахъ. Кто-то подошелъ къ двери и сталъ шарить, ища скобки.

— Кажись, онъ? — спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчикъ. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновеніе черную темноту, и вошелъ не староста, а работникъ Александръ, большой мужикъ лѣтъ пятидесяти, лысый, бородатый, съ ясными сѣрыми глазами и нѣжнымъ цвѣтомъ крупнаго лица, въ полушубкѣ и чистой

замашной рубахѣ. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А я насчетъ твоей лошади зашелъ, — сказалъ Александръ, чему-то улыбаясь и садясь на лавку. Прибрать ее, ай нѣтъ?

Буравчикъ подумалъ.

— Да нѣтъ, погоди, — отвѣтилъ онъ съ притворной безпечностью. — Я еще, можетъ, поѣду. Я вѣдь этихъ дождей нисколько не боюсь. Мы, братъ, люди русскіе, травленные...

— Дѣло твое, — сказалъ Александръ и поглядѣлъ въ сторону. — Я, признаться, и шелъ-то больше затѣмъ, чтобъ на тебя поглядѣть: какой-такой, молъ, Буравчикъ этотъ бытуетъ? Давно слышу: Буравчикъ, Буравчикъ... А чтò за Буравчикъ, — неизвѣстно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышанъ, значить, обо мнѣ? — спросилъ Буравчикъ. — Ну чтò жъ, гляди. Меня ужъ давно такъ кличутъ. У меня ихъ двѣ, фамиліи-то: одна, значить, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похожъ что-й-то.

— И то не похожъ, — сказалъ Александръ. — Это меня нуждишка заставила батракомъ-то на старости лѣтъ быть. Я панютинскій, у насъ село богатое. Я и самъ хорошо жилъ, хозяиномъ. Да такая оказія: третій разъ горю до тла! Справлюсь-справлюсь, придетъ лѣто, хлѣбушко уберу... ну, думаю, слава Тебѣ, Господи... Анъ нѣтъ: опять сумку надѣвай! Просто хотъ удавись, — прибавилъ онъ съ застѣнчивой улыбкой. — Двое ребятишекъ сгорѣло...

— Да чтò ты? — съ притворнымъ участіемъ и даже ужасомъ воскликнулъ Буравчикъ. — Это не

медъ,—сказалъ онъ, качая головой.—Это не медъ. Избавь Богъ.

И, помолчавъ, опять обратился къ старостихъ:

— Да, такъ вотъ я и говорю: заѣхали мы въ лѣсъ, подѣзжаемъ къ караулкѣ. Становимъ лошадей во дворъ, всходимъ въ избу, самоваръ требуемъ. А лѣсникъ, надо тебѣ замѣтить, оказывается, вдовецъ, старикъ древнѣй, да такой, что я и отродясь не видывалъ: просто орутанъ какой-то! Братъ Егоръ даже испугался маленько. Глянулъ на меня, да и говоритъ мнѣ по фарамъ, чтобы, значитъ, не понялъ насъ лѣсникъ: „Брафарать, афара вѣфѣрѣдъ эферетофоро звѣфѣрѣръ. Офоронъ мофорожефереть уфурубифирить нафарасъ.“ То-есть, по-русски сказать такъ: „Братъ, а вѣдь это звѣрь. Онъ можетъ убить насъ...“ А на звѣря лѣсникъ, и правда, похожъ: рубаха ниже колѣнъ, лыкомъ подпоясана, на ногахъ лаптищи, руки длинныя, въ родѣ корней дубовыхъ... Дикій, одно слово, человѣкъ и силы, видать, неописанной.

— Этотъ орутанъ въ звѣрильницѣ живетъ, — вставилъ Александръ. — Видѣлъ я его въ городѣ.

— Онъ самый, онъ самый,—подтвердилъ Буравчикъ. — Да его и по избамъ большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, крихтитъ, въ землю смотритъ...

— А виски, небось, сѣрые, невпрочесъ, какъ у кобеля хорошаго,—опять вставилъ Александръ.

— И то правильно, — сказалъ Буравчикъ. — Ты догадливъ живешь, сударушка. Ну, только противъ дикаго, какъ говорится, и самъ дикъ да хитеръ будь. Мужикъ тебя раломъ, а ты его жаломъ... Да. Обращаемся къ лѣснику: „Чайку съ нами



милости просимъ.“ — „Можно, говоритъ, спасибо.“ И опять этакъ сумрачно, а главная вещь — шамкаетъ. Сѣлъ за столъ, налили мы ему чаю, — въ корецъ, понятно, а не въ чашечку какую-нибудь, — а онъ и давай, вотъ не хуже моего, скорки хлѣбныя крошить да въ чаю ихъ распаривать. Чтò, думаемъ, за чудеса такія? „Дѣдъ, говоримъ, да ай у тебя зубъ-то нѣту? Фигура у тебя знаменитая, а зубъ нѣту: чтò, моль, за притча такая?“ А онъ, понявши, безъ сомнѣнія, такія слова, и совѣмъ голову угнулъ. Молчалъ-молчалъ да и выложилъ намъ, дуракамъ, свое назиданіе.

— Стравилъ тоже чѣмъ-нибудь, зубы-то? — изъ вѣжливости спросила старостиха.

Буравчикъ закурилъ, закашлялся и отвѣтилъ веселой скороговоркой:

— Да нѣтъ, въ томъ и басня вся, что не стравилъ. За грѣхъ заплатился, за гордость. Ты вотъ послушай.

И опять перешелъ на размѣренный тонъ:

— Онъ, понимаешь, лѣсникъ-то этотъ, такъ прямо и сказалъ намъ: назиданіе мое, говоритъ, въ томъ самомъ есть, что окоротилъ меня Господь за грѣхъ тяжкій, за глупость мою. И вотъ каюсъ я теперь, ребята, и конному и пѣшему. Видите, какія дисни-то у меня? О, гляньте, — сказалъ Буравчикъ, представляя лѣсника, и опять запустилъ въ ротъ палецъ: — ни одного не осталось. А почему не осталось, — человѣка я хотѣлъ убить, на силу свою глупую понадѣлся. Зашелъ ко мнѣ, ребята, годовъ семьдесятъ тому назадъ солдатъ одинъ изъ Польши: шелъ домой въ отпускъ несрочный и ночевать, значить, попросился. И было, вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ, росту въ томъ солдатѣ

не болѣ двухъ аршинъ, а силы—и на двухъ вшей не хватить...

—На взглядъ-то, значить,—сказалъ Александръ, чтобы показать, что онъ понимаетъ, къ чему клонилъ лѣсникъ въ своемъ назиданіи. — На первый взглядъ, то-есть... Вотъ въ родѣ какъ у тебя, — прибавилъ онъ насмѣшливо и дружелюбно.

—Во, во, въ аккуратъ!—подхватилъ Буравчикъ, блеснувъ въ его сторону глазами. — Совсѣмъ коростовой, глядѣться... И зачни, понимаешь, деньгами передъ лѣсникомъ хвастать. „Сѣлъ, говоритъ, за столъ, похлебаль моей похлебочки, закурилъ трубочку, снялъ ранецъ съ себя—и давай деньги изъ него таскать, пересчитывать. А денегъ этихъ самыхъ у него—прямо туча: все сотельныя однѣ, и все въ стопки, въ кирпичи складены и оборочками хрестъ-нахрестъ перевязаны. „Да это еще чтò!—говорить. — У меня, говоритъ, еще гаманъ за гашникомъ спрятанъ, полный золотомъ.“ И какъ, значить, глянулъ я на этакое богатство, потемнѣло у меня въ глазахъ отъ жадности, отнялись мои ручки, ноженьки,—ажъ штаны ходуномъ заходили. Посчиталъ деньги солдатъ, попихалъ ихъ въ ранецъ свой и баесть: „Чтò жъ, пора и на печь, дядюшка!“ А я въ отвѣтъ ему мычу только да зубами стучаю, зубы же мои въ ту пору таковы были, что могъ я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, безъ сомнѣнія, солдатъ мой на печь, потушилъ я лучину, нашарилъ топоръ-колунъ подъ лавкою, легъ и жду, а самъ думаю: тюкну, молъ, обухомъ разокъ — и капутъ ему, суслику!“

—Анъ сусликъ-то умнѣ насъ выпелъ,—вставилъ

Александръ, показывая, что онъ уже предугадалъ и развязку притчи.

— „Долго ли, коротко ли, — продолжалъ Буравчикъ: — только слышу — успокоился солдатъ. Ну, думаю, слава Тебѣ, Господи, во снѣ-то ему легче помирать будетъ, онъ и самъ, небось, кого-нибудь соннаго пришибъ, — больше неоткуда было ему такую уйму денегъ накопить. Подкрался съ обухомъ своимъ къ печкѣ, — а въ обухѣ томъ вѣсу, никакъ, болѣе пуда было, — сталъ покрѣпче на приступку, повернулъ колунъ тыломъ, нащупалъ голову стриженую, размахнулся — разъ!... Мат честная! Только мокро, молъ, останется!... И что жъ вы, ребятушки, думаете?“

Буравчикъ остановился и вытаращилъ глаза, держа блюдо на отлетѣ.

— „Что жъ вы думаете? — говоритъ лѣсникъ. — Очнулся солдатъ, потянулъ въ себя носомъ и покойненько этакъ кличетъ меня: „Хозяинъ, а хозяинъ. Что-й-то у тебя тутъ дѣлается? Либо у тебя прусаки водятся? Мнѣ сейчасъ здо-оровый прусакъ на високъ упалъ“... А хорошъ прусакъ, колунъ-то мой? Я прямо пополовѣлъ отъ этакихъ словъ, свалился съ приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачалъ, однакося, опять ждать своего...“

— Энтотъ солдатъ, значитъ, слово зналъ такое, — сказала старостиха и, скрестивъ руки подъ грудами, перестала мотать ногой.

Александръ, насмѣшливо и ласково улыбаясь, только розово-лысой головой покачалъ. А Буравчикъ вскочилъ съ мѣста, торопливо поправилъ коптившую лампочку, опять сѣлъ и крикнулъ, открывая беззубый ротъ, съ дѣтскою гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову розь, а тутъ неинаеч , какъ кочетиное слово было! Слушай, чѣ дальше-то будетъ, чай, примѣчай, куда чайки летятъ. Лѣсникъ мой не унялся, опять полѣзъ на печь. „Нащупалъ я, говоритъ, темя солдатова, обернулъ вострякомъ колунъ да и ухнулъ со всей силы-возможности. Ухнулъ и жду, а солдатъ приподнялся, да какъ захо-хо-о-четъ! „Ну, говоритъ, хозяинъ, видно, у тебя не выспишься. У тебя, говоритъ, черти, безъ сомнѣнiя, водятся: видно, подложили плотники щетины подъ матицу и развели у тебя этихъ самыхъ чертей видимо-невидимо. Сейчасъ одинъ меня ровно прутомъ какимъ по лбу жиганулъ. Ажъ засвирбѣло“... Чѣ тутъ дѣлать? Отползъ я отъ печи, а солдатъ поднялся, слышу, обувается. „Хозяинъ, а хозяинъ, говоритъ, скоро свѣтъ, мнѣ пора итить, проводи меня изъ лѣсу“. Ну, думаю, и того лучше: угомоню его въ лѣсу, мнѣ же выгоднѣй,—избу поганить не надо. Вскочилъ, будто спросонья: „А? Чѣ? Проводить? Ладно, молъ, идемъ“... Надѣваю армякъ, трясусь съ ногъ до головы, никакъ въ рукавъ не попаду, а самъ за дубинку ловлюсь: стояла у меня въ уголкѣ на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиковъ трехъ вѣсомъ. А солдатъ умывается и—хохочетъ! Беретъ въ ротъ воду изъ махоточки, лѣетъ изъ рота на руки, нагинается, моетъ лицо и хохочетъ... Чисто чортъ какой! Вышли, наконецъ того, пошли... Мнѣ бы, дураку, давно пора понять, что никакъ не возьметъ сила моя супротивъ ума солдатова, а я пруду да пруду, на затылокъ его стриженный гляжу. Онъ передомъ, въ ранцѣ своемъ телячьемъ, самъ меньше ранца, я—за нимъ, по пятамъ, въ родѣ медвѣдя какого. Стало, вижу, бѣ-



лѣтъ вверху, дождь рѣдѣть да рѣдѣть, прояснилось въ лѣсу. Дождался я спуску въ ложокъ, сосны одной примѣтной, обгорѣлой, приподнялъ свой корешокъ да и пустилъ съ навѣсу по затылку солдатову. А солдатъ...

Буравчикъ быстро взглянулъ на свѣсившуюся голову старостиhi и уставился радостно-блестящими глазами въ Александра:

— „А солдатъ клюнулъ этакъ носомъ, шапку подхватилъ, поправилъ, обернулся, будто удивился очень, да и говоритъ этакъ строго да внятно: „А-а, говоритъ, вотъ какой домовой-то въ избѣ у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько“... Поставилъ тихимъ манеромъ ружьецо свое берданское къ соснѣ, засучилъ рукава... „Ну-ка, разинь ротъ“,—говоритъ. А я ужъ и дубинку уронилъ отъ ужасти и ничего не смыслю. Однако разѣваю. „Да нѣтъ, говоритъ, ты пошире, пошире, стыдиться тутъ нечего!“ Разѣваю, сколько есть моей силы. Беретъ тогда солдатъ меня за зубъ пальцами, давить его, какъ клещами залѣзными,—и вынимаетъ вонъ изъ рота, въ горсть себѣ кладетъ. Вынимаетъ опосля того и другой тѣмъ же побытомъ, вынимаетъ и третій, вынимаетъ четвертый...”

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчикъ, насладившись его ожиданіемъ, уперся руками въ колѣни, лихо разставилъ локти и отчетливо, раздѣльно сталъ доканчивать:

— „Выбралъ онъ мнѣ, безъ сомнѣнія, зубы до одинаго, вынулъ лычко изъ карманчика: „держи подоль“,—говоритъ. Я держу, подставляю. Положилъ солдатъ въ подоль цѣльную горсть моихъ зубъ, завернулъ, закаталъ и такъ-то аккуратнень-

ко завязалъ, закрутилъ его лычкомъ. „Это, говорить, мужичокъ-сѣрячокъ, на память тебѣ, а это на поминъ души моей“... И вынимаетъ, подаетъ мнѣ сотельный билетъ!“

— Это не плохо,—съ улыбкой мотнулъ головой Александръ.

Буравчикъ залился смѣхомъ.

— Дай Богъ всякому!—воскликнулъ онъ.—Да вѣдь знаешь, сладокъ медъ, а не по двѣ ложки въ ротъ. Деньги-то онъ приобрѣлъ, а зубъ лишился. „Я, говоритъ, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да съ непривычки только челюстью ворочаю. А-а, а-а,—только и всего. Хочу сказать: солдатушка...“

Буравчикъ, смѣясь, поднялъ брови, сдѣлалъ жалкое лицо и опять полѣзъ въ ротъ пальцемъ:

— „Хочу сказать,—смѣясь и почти плача, закричалъ онъ тонкимъ голосомъ:—хочу сказать: солдатушка, а выходитъ: саатушка...“

Стягивая съ блюда воду и куски кренделей, онъ еще долго крутилъ головой, морщился, смѣялся и повторялъ послѣднія слова. Старостиха, сложивъ руки, крѣпко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумракомъ, бѣгали по старымъ бревенчатымъ стѣнамъ. На черныхъ стеклахъ блестѣли капли дождя.

— Побаску твою понимаю,—сказалъ наконецъ Александръ.

— Сила, значитъ, не въ медвѣдѣ, — пояснилъ Буравчикъ.

— Не иначе,—подтвердилъ Александръ.—Былъ и у насъ случай подобный. Я самъ очевидецъ былъ. Будетъ этому, дай Богъ не солгать, лѣтъ, небось, пятнадцать тому назадъ. Былъ у насъ въ

Панютинъ малый дуракъ, звали его Бурлыга. Потому не могъ онъ чисто сказать: тоже двухъ звуковъ на передѣ не хватало,—кобыла вышибла. Все, бывало: буръ, буръ. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, былъ дуракъ, картавый, а вотъ, не хуже твоего лѣсника, рослый, здоровый, чистый палачъ. Потому его внѣшность позволяла. Такъ вотъ, случись у насъ въ селѣ ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидятъ на выгонѣ. Конечно, тутъ и водка, и всякая закуска при нихъ. Зашелъ разговоръ, какъ вотъ у насъ съ тобой, про силу, а онъ, конечно, пьяный,—бываетъ, тверзый того не сказалъ бы, ну, а тутъ: буръ, буръ, я, говорить, никого не боюсь, и Бога никакого нѣту...

— Ну, ужъ это-то сдуру,—разсѣянно сказала Буравчикъ, вздыхая послѣ смѣха, завертывая новую цыгарку и думая о чемъ-то другомъ.— Это ужъ сдуру.

— Понятно, сдуру,—подтвердилъ Александръ.— Подивились всѣ ему. Молъ, не снесешь ты, малый, своей головы! А онъ поднялся, пошелъ въ народъ, увидалъ свою кралю, сдѣлалъ ей любовный знакъ. Подходить она къ нему. Зачалъ онъ при ей еще пуще куражиться. Глаза помутилъ, полушубокъ размахнулъ, усы мокрые косицами въ щербину лѣзутъ. Видитъ—сидитъ на телѣгѣ старичокъ маленький, лопатами торгуетъ. Около телѣги меринъ привязанъ, лопаты на земли разложены, а въ телѣгѣ—большой бѣлый баранъ, тоже, значитъ, продается. Лобикъ, поясника краской фуксиномъ помѣчены. Рога здоровые, хвостъ толстый. А самъ старичокъ легонькій, какъ пухъ, въ сѣромъ халатику, въ бѣломъ колпачкѣ изъ прѣстой холстины

и въ чунькахъ покойническихъ. Сидитъ на грядкѣ, закусываетъ калачикомъ. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лѣзетъ на него...

— Своей бѣды не чувствуетъ,—вставилъ Буравчикъ въ ладъ Александру, тѣмъ же тономъ, какимъ и Александръ вставлялъ замѣчанія въ его рассказъ.

— Да, бѣды своей не чувствуетъ,—повторилъ Александръ.—„Сейчасъ, говоритъ, пойду, всю его амунницю расшибу и барану хвостъ отломлю“. Любвица его мазаная, конечно, тоже уродничаетъ, притворяется, упрашиваетъ его. А онъ-то качается, ломается, будто пьянъ дюже! „Охъ, не перечь ты мнѣ за-ради Христа! Прошу тебе,—не трожь ты mine, а то я хуже надѣлаю. Протѣвъ силы моей, говоритъ, богатыря во всей державѣ не найдется“. Подходитъ, значитъ, къ старичку. „Буръ, буръ, дай, говоритъ, калачика мнѣ“. Старичокъ вынимаетъ изъ телѣги калачъ свѣжій, подаетъ, а малый Бурлыга беретъ, а самъ прицѣливается барана сгрести за рога, хвостъ ему зачать ломать. А старичокъ поглядѣлъ этакъ скромненько, слѣзъ съ грядки, лопату поднялъ, да какъ размахнется, да какъ ахнетъ... Норовиль-то по малому, а попалъ мерину по боку—ажъ по всей ярманкѣ отозвалось! Меринъ съ ногъ долой, порядочно лопать переломалъ, ухнулъ, дохнулъ, да и каюкъ,—красная вода носомъ пошла. Тутъ, конечно, народъ бѣжитъ, а старичокъ зашелъ за народъ—да потуда его и видѣли. Какъ въ воду канулъ. Меринъ завалился, лежитъ, а баранъ сидитъ въ телѣгѣ и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старикъ-то,—разсѣянно перебилъ Буравчикъ:—онъ-то куда жъ могъ пропасть?

Александръ подумалъ.



— А шатъ его знаетъ,—сказалъ онъ.—Значить, слово такое зналъ. Значить, тоже прикоснулся онъ сатанѣ... вотъ не хуже солдата твоего, либо тебя.

— Меня? — съ притворнымъ удивленіемъ крикнулъ Буравчикъ, и глаза его блеснули довольствомъ.—Ай ты очумѣлъ? Я-то тутъ при чемъ?

— Будя толковать-то!—сказалъ Александръ ласково и грустно.—Авось, слышали про тебя. Ты, братъ, тоже малъ, да удалъ. Тоже хорошъ... Живучѣ всякой кошки али, скажемъ, козюли. Ты ее раломъ, она тебя жаломъ... Ну, ты самъ посуди: что ты предо мной? Сгнипа! Я тебя могу двумя щептами задавить. А куда жъ мнѣ, дураку, справиться съ тобой? Ты захочешь—кровинки во мнѣ не оставишь, до тла всего высосешь. Я, къ примѣру, могу двѣ полнивы за день взодрать... Да и взодралъ-таки на своемъ вѣку, дай Богъ всякому. А чего добился? Одинъ хрестъ на шеѣ, только и всего. А ты вотъ тысячами ворочаешь... Нѣтъ, какъ можно!—сказалъ онъ съ непонятнымъ восхищеніемъ.—Я твоего ногтя не стою!

Буравчикъ молчалъ, загадочно и довольно улыбаясь... Потомъ вздохнулъ, всталъ, обернулся къ стѣнѣ и потянулъ цѣпочку рублевыхъ часовъ, висѣвшихъ на ней, толкнулъ маятникъ. Посыпались мертвые, сухія мухи, которыя все лѣто набивались въ часы и останавливали ихъ, и по избѣ пошелъ мѣрный стукъ, мѣшаясь съ шумомъ дождя по крышѣ.

Александръ задумчиво глядѣлъ въ полъ, упершись обѣими ладонями въ лавку.

Буравчикъ наклонилъ самоваръ и сталъ нацѣживать послѣднюю чашку.



# ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ





Моя жизнь хорошая была, я, чего мнѣ желалось, всего добилась. Я вотъ и недвижимымъ имуществомъ владаю, — старичокъ-то мой прямо же послѣ свадьбы домъ подъ меня подписалъ, — и лошадей, и двухъ коровъ держу, и торговлю мы имѣемъ. Понятно, не магазинъ какой-нибудь, а, какъ говорится, просто лавка, да по нашей слободѣ сойдетъ. Я всегда удачлива была, ну только и характеръ у меня на-стойчивый.

Насчетъ занятія всякаго меня еще батенька заучилъ. Онъ хоть и вдовый былъ, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дѣльный и безсердечный. Какъ вышла, значитъ, воля, онъ и говоритъ мнѣ:

— Ну, дѣвка, теперь я самъ себѣ голова, давай деньги наживать. Наживемъ, переѣдемъ въ городъ, купимъ домъ на себѣ, отдамъ я тебя замужъ за отличнаго господина, буду царевать. А у своихъ господъ намъ нечего сидѣть, не стоятъ они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бѣдные-пребѣдные были, просто сказать — побирушки. Мы и переѣхали отъ нихъ въ другое село, а домъ, скотину и какое было заведеніе продали. Переѣхали подъ самый городъ, сняли капусту у барыни Мецериной. Она фрелиной при царскомъ дворцѣ была,

нехорошая, рябая, въ дѣвкахъ посѣдѣла вся, никто замужъ не взялъ, ну и жила себѣ на спокоѣ. Сняли мы, значитъ, у ней луга, сѣли, честь честью, въ салашѣ. Стыдь, осень, а намъ и горя мало. Сидимъ, ждемъ хорошихъ барышей и не чуемъ бѣды. А бѣда-то и вотъ она, да еще какая бѣда-то! Дѣло наше ужъ къ развязкѣ близилось, вдругъ скандалъ ужасный. Напились мы чаю утромъ,—праздникъ былъ, — я и стою такъ-то возлѣ салаша, гляжу, какъ по лугу народъ отъ церкви идетъ. А батенька по капустѣ пошелъ. День свѣтлый такой, хоть и вѣтреный, я и заглядѣлась и не вижу, какъ подходятъ вдругъ ко мнѣ двое мужчинъ: одинъ священникъ, высокій этакій, въ сѣрой рясѣ, съ палкой, лицо все темное, землистое, грива какъ у лошади хорошей, такъ по-вѣтру и раздыхается, а другой—простой мужикъ, его работникъ. Подходятъ къ самому салашу. Я оробѣла, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодаримъ васъ, что провѣдать насъ вздумали.

А онъ, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотритъ, стоитъ, калмышки палкой разбиваетъ.

— А гдѣ, говоритъ, твой отецъ?

— Они, говорю, по капустѣ пошли. Я, молъ, если угодно, покликать ихъ могу. Да вонъ они и сами идутъ.

— Ну, такъ скажи ему, чтобъ забиралъ онъ все свое добришко вмѣстѣ съ самоварчикомъ этимъ паршивымъ и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщикъ сюда придетъ.

— Какъ, говорю, караульщикъ? Да мы ужъ и деньги, девяносто рублей, барынѣ отдали. Чтò вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а ужъ продувная на это дѣло была.) Ай вы, говорю, смѣтаетесь? Вы, говорю, бумагу намъ должны предъявить.

— Не разговаривать, — кричитъ. — Барыня въ городъ переѣзжаетъ, я у нее луга эти купилъ, и земля эта теперь моя собственная.

А самъ махаетъ, бьетъ палкой въ землю, — того гляди, въ морду заѣдетъ.

Увидалъ эту исторію батенька, бѣжитъ къ намъ, — онъ у насъ ужасный горячій былъ, — подбѣгаетъ и спрашиваетъ:

— Чтò за шумъ такой? Чтò вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сдѣлалась? Мы, молъ, люди бѣдные, мы до суда дойдемъ. Вы, говоритъ, духовное лицо, вражду не можете имѣть, за это вашему брату къ святымъ дарамъ нельзя касаться.

Батенька-то, выходитъ, и слова дерзкаго ему не сказалъ, а онъ, хоть и пастырь, а злой былъ, какъ самый обыкновенный сѣрый мужикъ, и какъ, значить, услыхалъ такія слова, такъ и побѣлѣлъ весь, слова не можетъ сказать, а ноги подъ рясой трясутся. Какъ завизжитъ, да какъ кинется на батеньку, чтобы, значить, по головѣ его огрѣть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвалъ ее у него изъ рукъ вонъ, да объ колѣнку себѣ — разъ! Тотъ было — на грудь, а батенька пересадилъ ее пополамъ, отшвырнулъ куда подалъ и кричитъ:

— Не подходите, за-ради Бога, ваше священство! Вы, кричитъ, черный, жуковатый, а я еще пожукватѣй васъ.

Да и схвати его за руки!

Судъ да дѣло, сослали за это за самое батеньку на поселенье. Осталась я одна на всемъ бѣломъ свѣтѣ и думаю себѣ: чтò жъ мнѣ дѣлать теперь? Видно,

правдой не проживешь, надо, видно, съ оглядочкой Подумала годокъ, пожила у тетки, вижу — дѣться мнѣ некуда, надо замужъ поскорѣй. Былъ у батеньки пріятель хорошій въ городѣ, шорникъ,—онъ и посватался. Не сказать, чтобъ изъ видныхъ женихъ, да все-таки выгодный. Нравился мнѣ, правда, одинъ человѣкъ, крѣпко нравился, да тоже бѣдный, не хуже меня, самъ по чужимъ людямъ жилъ, а этотъ все-таки самъ себѣ хозяинъ. Приданого ва мной копейки не было, а тутъ, вижу, берутъ безъ ничего, какъ такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что былъ онъ пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человѣкъ, просто сказать — разбойникъ... Вышла и стала, значитъ, ужъ не дѣвка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мѣщанка... Понятно, лестно казалось.

Съ этимъ мужемъ я девять лѣтъ мучилась. Одно званье, что мѣщане, а бѣдность такая, что хоть и мужикамъ впору! Опять же дразги, скандалы каждый божій день. Ну, да пожалѣлъ меня Господь, прибралъ его. Дѣти отъ него помирали всѣ, остались только два мальчика, одинъ Ваня, по девятому году, другой младенецъ на рукахъ. Ужасный веселый, здоровый былъ мальчикъ, десяти мѣсяцевъ сталъ ходить, разговаривать, — всѣ они у меня, дѣти-то, на одиннадцатомъ мѣсяцу начинали ходить и говорить, — самъ сталъ чай пить, уцопится, бывало, за блюдо, не выдерешь никакъ... Ну только и этотъ мальчикъ померъ, году еще не было. Пришла я разъ съ рѣчки домой, а мужнина сестра, — мы съ ней квартиру-то снимали, — и говорить:

— Твой Костя нынче цѣльный день кричалъ, закатывался. Я ужъ передъ нимъ и такъ и этакъ,



и руками, и въ щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода черезъ носъ назадъ идетъ. Либо онъ остудился, либо съѣлъ чего, вѣдь они, дѣти-то, все въ ротъ тащутъ, развѣ углядишь?

Я такъ и обомлѣла. Кинулась къ люлькѣ, отмахнула положекъ, а ужъ онъ томиться сталъ: даже и кричать не можетъ. Сбѣгала сестра за фельшеромъ знакомымъ, пришелъ онъ, — чѣмъ вы, говорить, его кормили?

— Ёлъ, молъ, кашу манную, только и всего.

— А ничѣмъ не игралъ?

— Такъ точно, игралъ, — говоритъ сестра. — Тутъ все колечко мѣдное съ хомута валялось, онъ и игралъ имъ.

— Ну, — говоритъ фельшеръ, — обязательно онъ его проглотилъ. Чтобъ у васъ руки, говоритъ, отсохли! Натворили вы дѣловъ, вѣдь онъ помретъ у васъ!

Понятно, по его и вышло. Двухъ часовъ не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да дѣлать нечего, видно, противъ Бога не пойдешь. Такъ и этого похоронила, остался одинъ Ваня. Остался одинъ, да вѣдь, какъ говорится, и одинъ — господинъ. Невеликъ человекъ, а все не меньше взрослого съѣсть, сопеть. Стала я ходить къ воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были съ капиталомъ хорошимъ, квартиру снимали, тридцать рублей помѣсячно платили. Сами въ верхнемъ этажу, внизу кухня. Стряпуха у нихъ была совѣмъ плохенькая старушонка, безотвѣтная, а распутная. Ну, и забеременѣла, понятно. Полы мыть нагинаясь нельзя, чугуна изъ печки не вытащить... Ушла она рожать, а я и захвати ея мѣсто: такъ-то ловко къ хозяйевамъ подкатилась! Я вѣдь, правда, смо-



лоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сдѣлаю все чисто, аккуратно, любого офиціанта засушу, опять же и угодить умѣла: что ни скажутъ господа, а я все „да-съ“, да „такъ точно“, да „истинная ваша правда“... Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самоваръ расчищу,—господа пока проснутся, а ужъ у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, изъ себя, хоть и сухая, а красивая. Мнѣ ину пору даже жалко, бывало, себя станеть: за что, молъ, красота моя и званіе на такой черной работѣ пропадаютъ?

Думаю себѣ — надо случаемъ пользоваться. А случай такой, что самъ полковникъ ужасный здоровый былъ и видѣть меня покойно не могъ, а полковничиха у него была нѣмка, толстая, больная, старе его годовъ на десять. Онъ не хорошъ, грузный, коротконогій, на кабана похожъ, а она того хуже. Вижу, сталъ онъ за мной ухаживать, въ кухнѣ у меня сидѣть, курить меня заучать. Какъ жена со двора, онъ и вотъ онъ. Прогонитъ денщика въ городъ, будто по дѣлу, и сидитъ. Надоѣлъ мнѣ до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смѣюсь, и ногой сижую-мотаю, — всячески, значить, разжигаю его... Вѣдь что жъ подѣлаешь, бѣдность, а тутъ, какъ говорится, хоть шерсти клокъ, и то дай сюда. Разъ какъ-то въ царскій день всходитъ въ кухню во всемъ своемъ мундирѣ, въ эполетахъ, подпоясанъ этимъ своимъ бѣлымъ поясомъ, какъ обручемъ, въ рукахъ перчатки лайковыя, шею надулъ, застегнулъ, альни синій сталъ, весь духами пахнетъ, глаза блестятъ, усы черные, толстые... Всходитъ и говоритъ:

— Я сейчасъ съ барыней въ соборъ иду, обмахни

мнѣ сапоги, а то пыль дюже — не успѣлъ по двору пройтись, запылится весь.

Поставилъ ногу въ лаковомъ сапогѣ на скамейку, чистую тунбу какую, я нагнулась, хотѣла обтереть, а онъ схватилъ меня за шею, платокъ даже сдернулъ, потомъ затиснулъ за грудь и ужъ за пещку тащить. Я туда, сюда, никакъ не выдерусь отъ него, а онъ такъ жаромъ и обдаетъ, такъ кровью и наливается, старается, значить, одолѣть меня, поймать за лицо и поцѣловать.

— Чтò вы, говорю, дѣлаете! Барыня идетъ, уйдите за-ради Христа!

— Если, говоритъ, полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалѣю!

— Какъ же, молѣ, знаемъ мы эти посулы!

— Съ мѣста не сойти, умереть мнѣ безъ покаянія!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совѣсти сказать, чтò я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава Богу, не вышло его дѣло. Зажалъ онъ меня опять какъ-то не во-время, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вотъ она: идетъ сверху, наряженная, вся желтая, толстая, какъ покойница, стонетъ, шуршитъ по лѣстницѣ платьемъ. Я вырвалась, стою безъ платка, а она и вотъ она — прямо къ намъ. Онъ мимо нее, да драло, а я стою, какъ дура, не знаю, чтò дѣлать. Постояла она, постояла противъ меня, подержала шелковый подолъ, — какъ сейчасъ помню, въ гости нарядилась, въ коричневомъ шелковомъ платьѣ была, въ митенкахъ бѣлыхъ, съ зонтикомъ и въ шляпкѣ карзиночкой, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему ни мнѣ ни слова не стала.

А какъ уѣхалъ полковникъ въ Кіевъ, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась къ сестрѣ (Ваня-то у сестры жилъ). Сошла съ этого мѣста и опять думаю: пропадаетъ задаромъ мой умъ, ничего я не могу себѣ нажить, прилично замужъ выйти и свое собственное дѣло имѣть, обидѣлъ меня Богъ! Запрягусь, думаю, сызнава, обмогнусь какъ-нибудь—и ужъ жива не буду, а добьюсь своего, будетъ у меня свой капиталъ! Подумала, подумала такъ-то, отдала Ваню въ ученье къ портному, а сама въ горничныя, къ купцу Самохвалову опредѣлилась да и отдежурила цѣльныхъ семь лѣтъ... Съ того и поднялась.

Жалованья положили мнѣ два съ четвертакомъ. Прислуги двѣ — я да дѣвушка Вѣра. Одинъ день я за столомъ, она посуду моетъ, другой я посуду мою, она къ столу подаетъ. Семейство не сказать чтобъ большое: хозяинъ Матвѣй Ивановичъ, хозяйка Любовь Иванна, двѣ взрослыхъ дочери, два сына. Самъ хозяинъ человекъ былъ серьезный, неразговорчивый, въ будни никогда и дома не бывалъ, а какъ праздникъ, сидитъ у себя наверху, читаетъ всякія газеты и сигару куритъ, а хозяйка простая, добрая, тоже, какъ я, изъ мѣщанокъ. Дочерей своихъ, Аню и Клашу, они скоро просватали и двѣ свадьбы въ одинъ годъ сыграли, — выдали за военныхъ. Тутъ-то, правду сказать, и начала я копить маленько: ужъ очень много на чай военные давали. Сдѣлаешь просто даже бездѣлицу какую-нибудь — спички когда такъ-то подашь, шинель съ калошами, — глядишь, двадцать копеекъ, тридцать... Да и хаживали мы страсть чисто, нравились военнымъ. Вѣра, та, правда, изъ себя все что й-то

строила, барышню какую-то, — ходить мелкими шажками, нѣжна и обидчива до крайности, сейчасъ, чуть что, брови свои пушистыя сдвинетъ, губы, какъ вишни, задрожатъ и ужъ слезы на рѣсницахъ, — хороши, правда, рѣсницы были, большія, я такихъ ни у кого и не видывала! — ну, а я-то поумнѣй была. Я, бывало, надѣну лифъ гладкій съ косякомъ, съ прошивками, рукава короткіе, на голову косу накладную съ чернымъ бантомъ бархатнымъ, бѣлый передникъ подкрахмаленный — такъ на меня даже взглянуть интересно. Вѣра, та все въ корсетъ затягивалась, — затянется мочи нѣтъ какъ туго, и сейчасъ же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и такъ ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйскіе давать.

Старшѣму-то ужъ годовъ двадцать сровнялось, какъ я на мѣсто заступила, а меньшому четырнадцатый пошелъ. Этотъ мальчикъ былъ сидяка убогій. Всѣ руки, ноги себѣ перломалъ, я и то сколько разовъ видѣла это дѣло. Какъ сломаетъ, приходитъ къ нему сейчасъ докторъ, всякой ватой, марлей забинтуетъ, потомъ зальетъ чѣмъ-то, въ родѣ какъ известка, известка эта самая съ марлей засохнетъ, станетъ какъ лубокъ, а какъ подживетъ, докторъ и разрѣжетъ, все долой сниметъ, — рука-то, глядь, и срослась. Ходить онъ самъ не могъ, а полозилъ на задѣ. Бывало, и по диванамъ, и черезъ пороги, и по лѣстницамъ — такъ и жжетъ. Даже черезъ весь дворъ въ садъ проползалъ. Голова у него была большая, нескладная, на отцову похожа, виски грубые, рыжіе, какъ шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому какъ ѣлъ онъ страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадныя, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочетъ. А



ножки, ручки тонкія, какъ овечьи, всѣ переломаны, въ рубцахъ. Водили его долго безъ ничего, рубахи шили длинныя, разныхъ цвѣтовъ, когда синія, когда розовыя. Грамотѣ учительница изъ духовнаго училища учила, на домъ къ намъ ходила. Здорово занимался, умная былъ голова! А ужъ какъ на гармоньѣ игралъ—гдѣ тебѣ и хорошему такъ-то сыграть! Играетъ и подпѣваетъ. Голосъ сильный, пронзительный. Бывало, какъ подыметъ, подыметъ: „Я монахъ, красивъ собою!..“ Эту пѣсню часто пѣвалъ.

Старшій сынъ былъ здоровый, а тоже въ родѣ дурачка, ни къ какимъ дѣламъ не способенъ. Отдавали его въ ученіе во всякія училища—вездѣ выгоняли, ничему не выучили. Какъ ночь, зальется куда-нибудь—и до самой зари. Матери все-таки боялся и черезъ парадный ни за что, бывало, не пойдеть. Я вечеромъ отдѣлаюсь и жду,—какъ хозяева заснутъ, прокрадусь по горницамъ, растворю окно въ его кабинетикѣ, а сама опять на свое мѣсто. Онъ сапоги на улицѣ сниметъ, пролѣзетъ въ окно въ однихъ чулкахъ—и ни стуку ни хрупы. На другой день всталъ,—какъ нигдѣ и не былъ, а мнѣ въ невидномъ мѣстѣ и сунетъ, что слѣдуетъ. Мнѣ-то что жъ, какая забота, беру съ великой радостью! Сломить себѣ голову—его дѣло... А тутъ и отъ меньшого, отъ Никаноръ Матвѣича, пошелъ доходъ.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Какъ забрала себѣ въ голову одно обстоятельство, чтобы безпремѣнно обезпечить себя да за хорошаго человѣка выйти, такъ и укрѣпилась въ этой жизни. Каждую копеечку, бывало, берегу: деньги-то, онѣ съ крылушками, только выпустить изъ рукъ!



Сжила Вѣру эту самую—да она, по совѣсти сказать, и безъ надобности была, я такъ и хозяевамъ сказала: я, молъ, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мнѣ какую ни на есть бездѣлицу—осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: какъ нарастетъ рублей двадцать, двадцать пять, сейчасъ прошу хозяйку въ банкъ сѣздить, на мое имя положить. Платье, башмаки—все хозяйское шло, куда жъ мнѣ тратить? Только и сдѣлала расхода, что на памятникъ, мужу на могилку, два семь гривенъ заплатила, чтобъ люди не осуждали. А тутъ еще, на счастье мое, на его бѣду, влюбился въ меня, прости Господи, убогій этотъ...

Теперь-то, понятно, часто думается: можетъ, за него-то и наказалъ меня Господь сынкомъ! Иной разъ изъ головы не идетъ—я вотъ сейчасъ расскажу, чтò онъ надъ собой сдѣлалъ,—да и то принять въ расчетъ, что ужъ очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастаго, и такая-то досада возьметъ! „Чтобъ тебѣ, молъ, подѣялось, въ рубашкѣ ты родился! Вотъ вѣдь и калѣка, а въ какомъ богатствѣ живетъ. А мой и хорошъ, да въ праздникъ того не сѣстъ, не сопьетъ, чтò ты въ будни, походя!“ Стала я замѣчать—похоже, влюбился онъ въ меня: ну, прямо глазъ съ моего лица не сводить. Онъ ужъ тогда лѣтъ шестнадцати былъ и шаровары сталъ носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехорошій, конопатый, зеленоглазый—избавь Богъ. Лицо широкое, а худій, какъ кость. Сперва-то онъ, видно, тò въ голову себѣ забралъ, что поправиться можетъ,—зачалъ прифранчиваться, подсолнухи покупать и такъ-то лихо, бывало, на гар-

монѣ заливается,—заслушаешься. Хорошо, правда, игралъ. Потомъ видитъ, что дѣло его не выходитъ,—притихъ, задумчивый сталъ. Разъ стою на галереѣ, вижу — ползетъ съ новой нѣмецкой гармоньей по двору, — опять подобрися, причесался, рубаху синюю съ косымъ высокимъ воротомъ надѣлъ, въ три пуговицы,—голову запрокинулъ, меня, значитъ, ищетъ. Поглядѣлъ, поглядѣлъ, глаза томные, мутные сдѣлалъ — и-и залился подъ польку:

Пойдемъ, пойдемъ поскорѣе  
Съ тобой польку танцовать,  
Въ танцахъ я могу смѣлѣе  
Про любовь свою сказать...

А я, будто и не замѣтила,—какъ шваркну изъ полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будетъ, молъ, мнѣ теперь на орѣхи! А онъ ползетъ, бьется наверхъ по лѣсницѣ обтирается одной рукой, другой гармонью тащитъ, глаза опустилъ, весь побѣлѣлъ и говоритъ этакъ скромно, съ дрожью:

— Чтобъ у васъ руки отсохли. Грѣхъ вамъ за это будетъ, Настя.

И только всего... Правда, смирный былъ.

Худѣлъ онъ это время ну прямо не по днямъ, а по часамъ, и ужъ докторъ сказалъ, что не жилецъ онъ на бѣломъ свѣтѣ, обязанъ отъ чахотки помереть. Я гребовата, бывало, и прикоснуться къ нему. Да, видно, гребовать бѣдному человѣку не приходится, деньгами все можно сдѣлать, вотъ онъ и сталъ подкупать меня. Какъ, бывало, позаснутъ все послѣ обѣда, онъ сейчасъ и зоветъ меня къ себѣ—либо въ садъ, либо въ горницу свою. (Онъ отдѣльно ото всѣхъ, внизу жилъ, горница большая,

теплая, а скучная, всѣ окна во дворѣ, потолки низкіе, шпалеры старыя, коричневыя).

— Ты, говорить, посиди со мною, я тебѣ за это деньжонок дамъ. Мнѣ отъ тебя ничего не надо, просто я влюбился въ тебя и хочу посидѣть съ тобой: меня одного стѣны съѣли.

Ну, я возьму деньги и посижу. И набрала такимъ манеромъ съ полсотни. Да жалованья у меня лежало съ процентами сотни четыре. Значить, думаю себѣ, пора мнѣ теперь понемножку вылѣзать изъ хомута. А, по-совѣсти сказать, жалко было — хотѣлось еще годокъ-другой пережить, еще пожить маленько, главная же вещь — проговорился онъ мнѣ, что у него задушевная копилка есть, рублей двѣсти по мелочамъ отъ матери набралъ: понятно, боленъ часто, лежитъ одинъ въ постели, ну, мать и суетъ для забавы. А я нѣтъ-нѣтъ, да и подумаю: прости, Господи, мое согрѣшеніе, лучше бы онъ мнѣ эти деньги отдалъ! Ему все равно безъ надобности, вотъ-вотъ помретъ, а я могу на весь вѣкъ справиться. Выжидаю только, какъ бы поумнѣй дѣло это сдѣлать. Стала, понятно, поласковѣе съ нимъ, стала чаще сидѣть. Войду, бывало, въ его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шопоткомъ:

— Ну, вотъ, молъ, я и отдѣлалась, давайте сидѣть парочкой.

Значить, дѣлаю видъ, въ родѣ какъ будто у насъ свиданіе назначено, а я будто и робѣю, и рада, что отдѣлалась, могу теперь побыть съ нимъ. Потомъ стала скучной, задумчивой прикидываться. А онъ-то добивается:

— Насть, чтѣ ты такая грустная сдѣлалась?

— Такъ, молъ, — мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на — руку щекой обопрусь.

— Да, въ чемъ, говорить, дѣло-то?

— Мало ли, молъ, дѣловъ у бѣдныхъ людей, да какая кому печаль объ нихъ? Я даже этимъ разговоромъ и наскучать вамъ не хочу.

Ну, онъ вскорости и догадался. Умный, говорю, быть, хоть бы здоровому впору. Разъ пришла къ нему, — дѣло, какъ сейчасъ помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туманъ стоитъ, въ домѣ все спять постѣ обѣда, — я вошла къ нему съ работой въ рукахъ, — шила себѣ что-й-то, — сѣла возлѣ постели и только это хотѣла-было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на умъ наводить, — онъ и заговори самъ. Лежитъ, какъ сейчасъ вижу, въ рубашкѣ розовой, новой, еще не мытой, въ шароварахъ синихъ, въ новыхъ сапожкахъ съ лакированными голенищами, ножки крестъ-накрестъ сложилъ и смотритъ искоса. Рукава широкіе, шаровары того шире, а ножки, ручки — какъ спички, голова тяжелая, большая, а самъ маленькій, — даже смотрѣть нехорошо. Глянешь — думается, мальчикъ, а лицо старое, хоть и моложавое будто — отъ бритья-то, — и усы густые. (Онъ почестъ каждый божій день брился, такъ, бывало, и пробиваетъ борода, все руки конопатые и то все въ волосахъ рыжихъ). Лежитъ, говорю, причесался на бочокъ, отвернулся къ стѣнкѣ, шпалеры ковыряетъ и вдругъ говорить:

— Настъ!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никаноръ Матвѣичъ?

А у самой такъ сердце и подкатилось.



— Ты знаешь, гдѣ моя копилка лежитъ?

— Нѣтъ, говорю, я этого, Никаноръ Матвѣичъ, не могу знать. Я плохого противъ васъ никогда въ умѣ не держала.

— Встань, отодвинь нижній ящикъ въ гардеропѣ, возьми старую гармонью, она въ ней лежитъ. Дай мнѣ ее сюда.

— Да зачѣмъ она вамъ?

— Такъ. Хочу деньги посчитать.

Я слазила въ ящикъ, крышку на гармоньѣ открыла, а тамъ въ мѣхахъ слонъ жестяной забить, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Онъ взялъ, погремѣлъ, положилъ подлѣ,—чистый, ей-Богу, ребенокъ!—и задумался объ чемъ-то. Молчалъ, молчалъ, усмѣхнулся и говорить:

— Я, Настя, нынче сонъ одинъ счастливый видѣлъ, даже до-свѣту проснулся отъ него, и очень хорошо мнѣ было весь день до обѣда. Глянь-ка, я даже выбрился и прифрантился для тебя.

— Да вы, молъ, Никаноръ Матвѣичъ, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, чтò говорю, до того разволновалась.

— Ну, говорить, ходить-то мнѣ, видно, ужъ на томъ свѣтѣ придется. Ужъ какой я красавецъ на томъ свѣтѣ буду,—ты даже представить себѣ того не можешь!

Мнѣ даже жалко его стало.

— Надъ этимъ, говорю, грѣхъ смѣяться, Никаноръ Матвѣичъ, и къ чему вы это говорите, я даже понять не могу. Можетъ, говорю, Господь дастъ, поздоровѣете еще. Вы лучше мнѣ скажите, какой такой сонъ вы видѣли?

Онъ было опять обиняками сталъ говорить, сталъ

посмѣиваться, — какой я, молъ, житель! — сталъ ни къ селу ни къ городу про нашу корову толковать, — скажи ты, говоритъ, заради Бога мамашѣ, чтобъ продала она ее, мочи моей нѣту, надоѣла она мнѣ, лежу на кровати и все смотрю черезъ дворъ на сарайчикъ, гдѣ она помѣщается, и она все смотритъ въ рѣшетку на меня обратно, — а самъ все деньгами погромыхиваетъ и въ глаза не смотритъ. А я слушаю и тоже половины не понимаю, — чисто помѣшанные какіе, несемъ, что попало, и съ Дону и съ моря, — наконецъ того не вытерпѣла, — вѣдь вотъ-вотъ, думаю, проснутся все, самоваръ потребуютъ, и пропало тогда все мое дѣло! — и поскорѣе перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нѣтъ, говорю, вы лучше скажите, какой сонъ вы видѣли? *Про насъ что-нибудь?*

Хотѣла, понятно, пріятное ему сказать и такъ-то ловко попала, — онъ даже пополовѣлъ весь и глаза опустилъ. Взялъ вдругъ копилку, вынулъ ключикъ изъ шароваръ, хочетъ отпереть — и никакъ не можетъ, никакъ въ дырку не попадетъ, до того руки трясутся, — наконецъ того отпираетъ, высыпаетъ ее себѣ на животъ, — какъ сейчасъ помню, двѣ серіи и восемь золотыхъ, — сгребъ ихъ въ руку и вдругъ говоритъ шопотомъ:

— Можешь ты меня одинъ разъ поцѣловать?

Такъ у меня руки, ноги и отнялись отъ страху. А онъ-то съ ума сходитъ, шепчетъ, тянется:

— Настечка, только разъ! Богъ свидѣтель, никогда больше слова не скажу, не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и! поцѣловала его. Такъ онъ даже задохнулся весь, — ухватилъ меня за шею, поймалъ губы и съ

минуту, небось, не пускать. Потомъ сунуль всё деньги въ руку мнѣ—и къ стѣнкѣ:

— Иди, говорить.

Я выскочила и прямо же въ свою горницу. Заперла деньги на замокъ, схватила лимонъ и давай губы тереть. До того терла, альни побѣлѣли всё. Очень, правда, боялась, что пристанетъ отъ него ко мнѣ чахотка...

Ну, хорошо, — это дѣло значитъ, вышло, слава Богу, начинаю другое обдѣлывать, поглавнѣе, изъ-за какого я и билась-то пуще всего. Чую—быть скандалу, боюсь, не будетъ меня съ мѣста пускать, начнетъ, думаю, приставать теперь съ любовью, мужевать меня изъ-за этихъ денегъ... Нѣтъ, смотрю, ничего. Лѣзть не лѣзетъ, обходится попрежнему, аккуратно, будто ничего и не было промежъ насъ, даже, думается, еще скромнѣе, и въ горницу не зоветъ: держитъ, значитъ, слово. Подвожу тогда хозяевамъ разговоръ, — молъ, пора мнѣ объ сыну позаботиться маленько, ослобониться на время. Хозяева и слышать не хотятъ. А ужъ про него и говорить нечего. Намекнула ему разъ, такъ онъ прямо побѣлѣлъ весь. Отвернулся къ стѣнкѣ и говоритъ этакъ съ усмѣшкой:

— Ты, говорить, не имѣешь права этого сдѣлать. Ты меня завлекла, приучила къ себѣ. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорошъ скромникъ оказался? Ахъ, думаю, безсовѣстные твои глаза! Я же изъ-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мнѣ! Ну, нѣтъ, не на такую напался! И зачала еще пуще предлогъ искать. Родилась тутъ кстати у хозяйки еще дѣвочка, наняли къ ней мамку — я и придерись, что

съ ней жить не могу. Злая, правда, оголѣлая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная къ тому же, — полштофъ подъ кроватью такъ и дежурилъ, — и возлѣ себя прямо терпѣть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутянить всячески. То бѣлье не такъ выгладила, то подать ничего не умѣю... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бѣжитъ. Плачетъ навзрыдъ, а больше, понятно, не отъ обиды, а отъ притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяйевамъ:

— Такъ и такъ, увольте меня, мнѣ отъ этой самой старухи бѣлый свѣтъ не милъ, я на себя руки наложу.

А сама ужъ домъ на Глухой улицѣ приглядѣла. Ну, хозяйка, прослышавши это, и не стала больше меня неволить. Правда, какъ прощалась со мной, страсть какъ звала опять къ себѣ жить, или хоть приходите когда къ празднику, къ именинамъ:

— Обязательно, говорить, чтобъ ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я, говорить, только при тебѣ и покойна. Я къ тебѣ какъ къ родной привыкла.

Провожаетъ съ хлѣбомъ-солью, — сошло, значитъ, сердце, — большую булку бѣлую спекла, цѣльную солонку сахару наклала. Я благодарю всячески, а, понятно, не дѣтей мнѣ съ ней крестить: думаю одно, говорю другое. Наобѣщала всего съ три сумы, накланялась въ поясъ — и сошла. И сейчасъ же, Господи благослови, за дѣло. Купила домъ этотъ, открыла кабакъ. Торговля пошла ужасная хорошая, — стану вечеромъ выручку считать: тридцать да сорокъ, а то и всѣхъ сорокъ пять въ кассѣ, — я и надумай еще лавочку открыть, чтобъ ужъ,



значить, одно къ одному шло. Сестра мужнина замужъ давно вышла за сторожа изъ Краснаго Креста, онъ все кумой меня звалъ, дружилъ со мной, — я къ нему: взяла бездѣлицу въ долгъ на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тутъ какъ разъ и Ваня изъ ученья вышелъ. Совѣтуюсь съ умными людьми, куда, молъ, его устроить.

— Да куда, говорятъ, его устраивать, у тебя и дома работы дѣвать некуды.

И то правда. Сажая Ваню въ лавку, сама въ кабакъ становлюсь. Пошла жожка въ ходъ! И мыслить, понятно, забыла обо всѣхъ этихъ глупостяхъ, хоть, по совѣсти сказать, онъ, убогій-то, даже въ постель слегъ, какъ я уходила. Никому ни одного словечка не сказалъ, а слегъ прямо какъ мертвый, даже гармонью свою забылъ. Вдругъ, здорово живешь, — Полканиха на дворъ, мамка эта самая (Ее мальчишки Полканихой прозвали). Является и говоритъ:

— Тебѣ, говоритъ, одинъ человѣкъ велѣлъ кланяться, безпремѣнно велѣлъ провѣдать его.

Такъ меня въ жаръ и бросило со зла да стыда! Каковъ, думаю себѣ, голубчикъ! Чтò въ голову свою забралъ! Подружку какую себѣ нашелъ! Не стерпѣла и говорю:

— Мнѣ его поклоны не надобны, онъ про свое убожество долженъ помнить, а тебѣ, старому чорту, стыдно въ сводни лѣзть. Слышала, ай нѣтъ?

Она и осѣклась. Стоитъ, согнулась, смотритъ на меня исподлобья пухлыми глазами, да только качаномъ своимъ мотаетъ. Либо отъ жары, либо отъ водки ошалѣла.

— Эхъ ты, говоритъ, безчувственная! Онъ, говоритъ, даже плакалъ объ тебѣ. Весь вечеръ вчера

лежалъ, къ стѣнкѣ отвернувшись, а самъ плакалъ навзрыдъ.

— Что жъ, говорю, и мнѣ что ль залиться въ три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветъ на-людяхъ? Ишь ребеночекъ какой! Ай отъ соски отняли?

Такъ и выпроводила старуху эту безъ ничего и сама не пошла. А онъ вскорости возьми да и взаправду удавился. Тутъ-то я очень, понятно, жалѣла, что не пошла, а тогда не до него было. У самой въ домъ скандалъ по скандалу пошелъ.

Двѣ горницы въ домъ я подъ квартиру сдала, одну нашъ постовой городской снялъ, отличный, серьезный, порядочный человекъ, Чайкинъ по фамилии, въ другую барышня проситутка переѣхала. Свѣтлорусая такая, молоденькая, и съ лица ничего, красивая. Звали Оней. Бѣдилъ къ ней подрядчикъ Хѣлинъ, она у него на содержаньи была, ну, я и пустила, понадѣялась на это. А тутъ, глядь, вышла промежъ нихъ разстройка какая-то, онъ ее и бросилъ. Что тутъ дѣлать? Платить ей нечѣмъ, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо, говорю, барышня, съ вольныхъ добывать, у меня не страннопріимный домъ.

— Я, говоритъ, постараюсь.

— Да вотъ, молъ, что-й-то не видно вашего старанья. Въмѣсто того, чтобъ стараться, вы каждый вечеръ дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надѣяться.

— Я постараюсь. Мнѣ даже совѣстно слушать васъ.

— А-ахъ, говорю, скажите пожалуйста, совѣсть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала-было округъ Чайкина увиваться, да онъ и глядѣть на нее не захотѣлъ. Потомъ, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все онъ возлѣ ней. Затѣялъ вдругъ новый пинжакъ шить.

— Ну, нѣтъ, говорю, перегодишь! Я тебя и такъ одѣваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузикъ. Сама, молъ, во всемъ себѣ отказывала, каждую копейку орломъ ставила, а тебя снабжала.

— Я, говорить, хорошъ собою.

— Да шальной, — что жъ мнѣ на красоту твою домъ, что ль, продать?

Замѣчаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не миль. Стала слѣдить. Сижу въ кабаки, а сама все слушаю, — прислонюсь къ стѣнкѣ, затаюсь и слушаю. Нынче, послушу, гудятъ, завтра гудятъ... Стала выговаривать.

— Да вамъ-то, говорить, что за дѣло? Можетъ, я на ней жениться хочу.

— Вотъ тебѣ разъ, матери родной дѣла нѣту! Замыселъ твой, говорю, давно вижу, только не бывать тому во вѣки вѣковъ.

— Она безъ ума меня любитъ, вы не можете ее понимать, она нѣжная, застѣнчивая.

— Любовь хорошая, говорю, отъ поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смѣхъ подымаетъ. У ней, говорю, дурная, всѣ ноги въ ранахъ.

Онъ было и окаменѣлъ: глядитъ себѣ въ переносицу и молчитъ. Ну, думаю, слава тебѣ, Господи, попала по нужному мѣсту. А все-таки до-смерти испугалась: значитъ, видимое дѣло — врѣзался, голубчикъ. Надо, значитъ, думаю, какъ ни могъ,

поскорѣй ее добивать. Совѣтуюсь съ кумомъ, съ Чайкинымъ. Надоумьте, моль: чтò намъ съ ними дѣлать? Да чтò жъ, говорятъ, понятно, прихватить надо и вышвырнуть ее, вотъ и вся недолга. И такую исторію придумали. Прикинулась я, что въ гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицамъ, а къ шести часамъ, когда, значитъ, смѣна Чайкину, тихимъ манеромъ — домой. Подбѣгаю, толкъ въ дверь — такъ и есть: заперто. Стучу — молчатъ. Я въ другой, третій — опять никого. А Чайкинъ ужъ за угломъ стоитъ. Зачала я въ окна колотить — альни стекла зудятъ. Вдругъ задвижка — стукъ: Ванька. Бѣлый, какъ мѣлъ. Я его въ плечо со всей силы — и прямо въ горницу. А тамъ ужъ чистый пиръ какой: бутылки пивныя пустыя, вино столовое, слабое, сардинки, селедка большая очищена, какъ янтарь розовая, — все изъ лавки. Оенька на стулѣ сидитъ, въ косѣ лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядитъ во всѣ глаза, а у самой ажъ губы посинѣли отъ страху. (Думала, бить кинусь). А я и говорю этакъ просто, а сама и продохнуть не могу, — то откину шаль, то опять запахнусь:

— Что-й-то у васъ, говорю, — ай сговоръ? Ай именинникъ кто? Чтò жъ не привѣчаете, не угощаете?

Молчатъ.

— Чтò жъ, говорю, молчите? Чтò жъ молчишь, сынокъ? Такой-то ты хозяинъ-то, голубчикъ? Вотъ куда, выходитъ, денежки-то мои кровныя летятъ!

Онъ было и шерсть взбодоражилъ:

— Я и самъ въ лѣта взошелъ!

— Та-акъ, говорю, а мнѣ-то какъ же? Мнѣ,



значить, отъ твоей милости съ сучкой съ этой курнушку снять? Изъ своего собственнаго дома выходить? Такъ, что ль? Пригрѣла я, значитъ, вмѣйку на свою шейку?

Какъ онъ на меня заоретъ!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкинъ, услыхавши такой крикъ, и вотъ онъ: вскочилъ, ни слова не сказавши, сгребъ Ваньку за плечи, да въ чуланъ, да на замокъ. (Человѣкъ ужасный сильный былъ, прямо гайдукъ!) Заперъ и говорить Оенькѣ:

— Вы барышней числитесь, а я васъ волчкомъ могу сдѣлать!

(Съ волчьимъ билетомъ, значитъ).

— Хотите вы, говорить, этого, ай нѣтъ? — Нонче же комнату намъ ослобонить, чтобъ и духу твоего здѣсь не пахло!

Она — въ слезы. А я еще поддала:

— Пусть, говорю, денежки мнѣ прежде приготовить! А то я ей и сундучишко послѣдній не отдамъ. Денежки готовъ, а то на весь городъ ослаблю!

Ну, и спровадила въ тотъ же вечеръ. Какъ сгоняла-то я ее, страсть какъ убивалась она. Плачетъ, захлебывается, даже волосы съ себя деретъ. Понятно, и ея дѣло не сладко. Куда дѣться? Все состоянье, вся добыча при себѣ. Ну, однако съѣхала. Ваня тоже попритихъ-было на время. Вышелъ на утро изъ-подъ замка — и ни гу-гу: боится очень и совѣсть изобличаетъ. Принялся за дѣло. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да не долго. Стало опять изъ кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку въ лавку подсылать, а онъ-то

и печенымъ и варенымъ снаряжаетъ ее! То сахару навалить, то чаю, то табаку... Платокъ — платокъ, мыло — мыло, — что подъ руку попадетъ... Развѣ за нимъ углядишь? И вино стало потягивать, да все злѣй да злѣй. Наконецъ того, и совсѣмъ лавку забросилъ: дома и не живетъ, почестъ, только поѣсть придетъ, а тамъ и опять поминай какъ звали. Каждый вечеръ къ ней отправляется, бутылку подъ поддевку — и маршъ, а она, водка-то, ужъ дорогая стала. Я мечусь какъ угорѣлая — изъ кабака въ лавку, изъ лавки въ кабакъ — и ужъ слово боюсь ему сказать: совсѣмъ босякъ сталъ! Всегда красивый былъ, весь въ меня, лицомъ бѣлый, нѣжный, чистая барышня, глаза ясные, умные, изъ себя статный, широкій, волосы каштановые, выющіе... А тутъ морда одулась, волосы загустѣли, по воротнику лежатъ, глаза мутные, весь обтрепался, гнущься сталъ — и все молчитъ, въ переносицу себѣ смотреть.

— Вы меня не тревожьте теперь, говорить, я могу каторжныхъ дѣлъ натворить.

А захмеляетъ, разслюнявится, смѣется ничему, задумывается, на гармоніи „Невозвратное время“ играетъ, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дѣло, надо мнѣ поскорѣй замужъ. Сватаютъ мнѣ тутъ какъ разъ вдовца одного, тоже лавочника, изъ пригорода. Человѣкъ пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый разъ, значить, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорѣе отъ вѣрныхъ людей все до шпенту объ его жизни — бѣды, вижу, никакой; надо рѣшаться, надо поскорѣе знакомство завести, — насъ другъ другу только въ церкви сваха передъ тѣмъ показала, — надо, значить, предлогъ найти, побывать другъ у друга,

въ родѣ какъ смотрины сдѣлать. Приходитъ онъ сперва ко мнѣ, рекомендуется: „Лагутинъ, Николай Ивановичъ, лавочникъ“. — „Очень пріятно, молъ.“ Вижу, совсѣмъ отличный человѣкъ, — ростомъ, правда, невеличекъ, сдѣненный весь, а пріятный такой, тихій, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говоритъ, гроша за всю жизнь не задолжалъ... Потомъ я къ нему со свахой будто по дѣлу затѣялась. Пришли. Вижу, ренсковый погребъ и лавка со всѣмъ, что къ вину полагается: сало тамъ, ветчина, сардинки, селедки. Домикъ небольшой, а чистая люстра. На окнахъ гардинки, цвѣты, полъ чисто подметенъ, даромъ что холостой живетъ. На дворѣ тоже порядокъ. Три коровы, лошади двѣ. Одна матка, трехъ лѣтъ, пять сотъ, говоритъ, ужъ давали, да не отдалъ. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь — до чего хороша! А онъ только тихонько посмѣивается, ходитъ, сѣменить впереди насъ, пальцами похрустываетъ и все рассказываетъ, какъ прескурантъ какой читаетъ: вотъ тутъ-то то-то, тамъ-то то-то... Значить, думаю, мудрить тутъ нечего, надо дѣло кончать...

Понятно, это я теперь-то такъ вкратцѣ рассказываю, а что я въ ту пору прочувствовала — одна моя думка знаетъ! Ногъ подъ собой отъ радости не чую, — молъ, таки добилась своего, нашла свою партію! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка разстроится вся моя надежда? Да такъ оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаромъ всѣ мои хлопоты, а изъ-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: изъ-за убогаго этого да изъ-за сыночка милаго! Мы такъ дѣло тихо, благородно вели, что ни котъ ни кошка, думалось, не узнаетъ. Анъ, слышу, ужъ весь пригородъ знаетъ

про наши съ Николай Ивановичемъ замыслы, дошелъ, понятно, слухъ и до Самохваловыхъ,—небось, сама же Полканиха и шепнула. А онъ, убогій-то, возьми, говорю, да и повѣсься! На вотъ, молъ, тебѣ,—грозишь, не вѣрила, такъ вотъ же я на зло тебѣ сдѣлаю! Вколотилъ гвоздикъ въ стѣну надъ кроватью, бечевку отъ сахарной головы приладилъ, захлестнулся и сполозъ съ кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою разъ въ сумерки въ лавкѣ, прибираю кой-что — вдругъ кой-й-то грохъ, грохъ въ ставню въ домѣ! Такъ у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порогъ — Полканиха.

— Ты чтò?

— Никаноръ Матвѣичъ приказалъ долго жить! Брякнула, повернулась — и домой. А я сгорячато не сообразилась, — меня прямо какъ варомъ обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бѣжитъ, подолъ подхватила напереди, спотыкается, гнется — и я бѣгу... Прямо страмъ на весь городъ! Бѣгу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, чтò натворилъ, не тѣмъ Богъ помяни! До чего, думаю, совѣсти въ людяхъ нѣту! Подбѣгаю, а тамъ ужъ народу какъ на пожарѣ. Парадный — настезь, кто хочетъ, тотъ и лѣзетъ, — всемъ, понятно, любопытно. Я было сдуру-то себѣ туда же. Да спасибо какъ по головѣ меня кто огрѣлъ: опомнилась, повернула — да назадъ. Тѣмъ, можетъ, и спаслась, а то бы узнала чижа паленаго. Вспомнилъ бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вотъ, молъ, ваше благородіе, на кого мы думаемъ, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потомъ, вывертывайся. Человѣкъ-то,



бываетъ, ни сномъ ни духомъ, а его за хвостъ да въ мѣшокъ... Не первый случай!

Ну, похоронили его—у меня и отлегло отъ сердца. Готовлюсь къ свадьбѣ, дѣло свое спѣшу прикончить, распродать, что можно, безъ убытку—вдругъ опять бѣда-горе. И такъ съ ногъ сбилась въ хлопотахъ, спеклась вся отъ жары,—жара въ тотъ годъ прямо непереносная стояла, да съ пылью, съ вѣтромъ горячимъ, особливо у насъ, на Глухой улицѣ, на косогорахъ-то этихъ,—вдругъ еще новость: Николай Ивановичъ обидѣлся. Присылаетъ сваху эту самую нашу, какая насъ сводила-то,—лютая псовка была, небось, сама же, остроглазая, и настрочила его, Николай-то Ивановича,—передаетъ черезъ нее Николай Ивановичъ, что свадьбу онъ до перваго сентября откладываетъ,—дѣла будто есть—и объ сыну, объ Ванѣ, наказываетъ: чтобы, значить, я объ немъ получше подумала, опредѣлила его куда ни на есть, потому какъ, говоритъ, въ домъ я его къ себѣ ни за какія благи не приму. Хоть онъ, говоритъ, и сынъ твой родной, а онъ насъ въ чистую разорить и меня будетъ беспокоить. (И его-то, правда, положеніе! Какъ онъ никогда никакого шуму не зналъ, никакихъ скандаловъ не подымалъ, понятно, боялся волноваться: какъ разволнуется, у него всегда все въ головѣ смѣшается, слова не можетъ сказать). Пускай, говоритъ, она его съ рукъ сбываетъ. А куда мнѣ его опредѣлять, куда сбывать? Малый совсѣмъ отъ рукъ отбился, въ чужихъ людяхъ, думаю, и совсѣмъ голову свернетъ, а сбывать—не миновать. Я и сама-то съ нимъ на нѣтъ сошла съ самыхъ съ этихъ поръ, какъ ознакомился онъ съ Оенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнетъ, ночь

пьянствуетъ,—ночь за день сходить... Чтò я горя вытерпѣла съ нимъ за это лѣто — сказать невозможно! До того добилъ—стала какъ свѣчка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Какъ стемняетъ, сяду на скамейку передъ домомъ и жду, пока съ улицы вернется, боюсь, ребята слободскіе умолотятъ.

Ну, получивши такое рѣшеніе отъ Николай Ивановича, призываю его къ себѣ: такъ и такъ, молъ, сынокъ,—терпѣла я тебя долго, ну, а ты совсѣмъ ослабъ и заблудился, на всю округу меня ославилъ. Привыкъ ты нѣжиться и блаженствовать,—наконецъ того совсѣмъ босакъ, пьяница сталъ. Такого дарованія, какъ я, ты не имѣешь, сколько разъ я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажить себѣ не можешь. Я вотъ и почету себѣ добила, и недвижимое имущество у меня есть, и ѣмъ, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всѣмъ мой хрипъ споконъ вѣку завѣдовалъ. Ну, а ты, какъ былъ моталъ, такъ, видно, и хочешь остаться. Пора тебѣ съ шеи моей слѣзть...

Сидитъ, молчитъ, клеенку на столѣ ковыряетъ. Только и вызвала, чтò пообѣдать, а то все спалъ, морда вся затекла.

— Чтò жъ ты, спрашиваю, молчишь? Ты клеенку-то не дери, — наживи прежде свою, — ты отвѣчай мнѣ.

Опять молчитъ, голову гнетъ и губами дрожитъ.

— Вы, говорить, замужъ выходите?

— Это, молъ, выду ли, нѣтъ ли, неизвѣстно, а и выду, такъ за хорошаго человѣка, какой тебя въ домъ не пуститъ. Я, братъ, не Оенька твоя, не плюха какая-нибудь.

Какъ онъ вскочить вдругъ съ мѣста, да какъ затрясется весь.

— Да вы, говоритъ, ногтя ея не стѣйте!

Хорошо, ай нѣтъ? Вскочилъ, заоралъ не своимъ голосомъ, дверью грохнулъ—и былъ таковъ. А я, ужъ на что не плаксива была, такъ слезами и задалась. Плачу день, плачу другой,—какъ подумаю, какія слова онъ могъ мнѣ сказать, такъ и зальюсь. Плачу и одно въ умѣ держу—до вѣку не прощу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нѣту. Слышу—у своей пируетъ, танцы, плясъ, пропиваетъ наворованныя денежки и мнѣ грозитъ: я ее, говоритъ, все равно успокою, выжду, какъ пойдетъ куда-нибудь вечеромъ, камнемъ убью. Присылаетъ, — на смѣхъ мнѣ, понятно, — въ лавку за покупками, беретъ то жамокъ, то селедокъ. Я прямо тряусь отъ обиды, а крѣплюсь, отпускаю. Сижу разъ въ лавкѣ—вдругъ самъ выходитъ. Пьянъ—лица нѣту. Вносить селедки, — утромъ дѣвчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки,—и какъ шваркнетъ ихъ на прилавокъ!

— Можете вы, кричить, присылать такую скверность покупателейъ? Онѣ вонючія, ихъ собакамъ только ѣсть!

Оретъ, ноздри раздуваетъ—предлогъ ищетъ.

— Ты, говорю, тутъ не буянь и не ори, сама я селедокъ не работаю, а боченками покупаю. Не нравится—не жри, вотъ тебѣ твои деньги.

— А если бы я ихъ съѣлъ да померъ?

— Опять же, говорю, ты, свинья, не можешь тутъ кричать, — какой такой ты мнѣ командиръ? Авось чинъ не великъ имѣешь. Ты честью долженъ сказать, а не нахрапомъ лѣзть въ чужое помѣщеніе.

А онъ схватилъ вдругъ безменъ съ ларя и этакъ шипомъ.

— Какъ жмакну тебя, говоритъ, сейчасъ по головѣ, такъ ты и протянешься!

И со всѣхъ ногъ вонъ изъ лавки. А я какъ сѣла на полъ, такъ и подняться не могу...

Потомъ слышу—уработали его, наказалъ Господь за мать! Еле живого на извозчикѣ привезли—пьянъ безъ памяти, голова мотается, волосы отъ крови слиплись, всѣ съ пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжакъ весь въ клокахъ—хоть бы гдѣ орѣхъ цѣлаго сукна остался... Я подумала, подумала—принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только въ тотъ же день посылаю Николай Иванычу поклонъ и твердо наказываю сказать, чтобъ онъ больше ничего не беспокоился: съ сыномъ, молъ, я порѣшила,—прогону его безо всякой жалости прямо же, какъ проспится. Отвѣчаетъ тоже поклономъ и велитъ сказать: очень, говоритъ, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А черезъ двѣ недѣли и свадьбу назначилъ. Да...

Ну, да будетъ пока, тутъ и сказкѣ моей конецъ. Больше-то, почестъ, и рассказывать нечего. Съ этимъ мужемъ до того я ладно вѣкъ свѣковала, — прямо рѣдкость по нонѣшнему времени. Чтò я, говорю, прочувствовала, какъ этого рая добивалась,—сказать невозможно! Ну, и наградилъ меня, правда, Господь,—вотъ двадцать первый годъ живу какъ за каменной стѣной за своимъ старичкомъ и ужъ знаю—онъ меня въ обиду не дастъ: онъ вѣдь это съ виду только тихій! А, понятно, нѣтъ-нѣтъ, да и заноеетъ сердце. Особливо Великимъ постомъ отчего-й-то. Умерла-бы теперь, думается, — хорошо,



покойно, по всѣмъ церквамъ акаѳисты читають... Правда, наморилась я на своемъ вѣку—ухъ, и на-стойчива была Настасья Семеновна! Мнѣ бы, по моему уму, развѣ въ слободѣ сидѣть? Меня мужъ и то Скобелевымъ зоветъ... Опять же иной разъ объ Ванѣ соскучусь. Двадцать лѣтъ ни слуху ни духу объ немъ. Можетъ, и померъ давно, да не знаю о томъ. Мнѣ даже жалко его стало. какъ привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать—цѣльный день спалъ мертвымъ сномъ. Взойду, послушаю дыханіе,—живъ ли, молъ... А въ горницѣ—вонь, кислотой какой-то, лежитъ онъ весь ободранный, изгвазданный, храпитъ и захлебывается... Страмъ и жалость смотрѣть, а вѣдь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и—выйду. И такая-то тоска мена взяла! Поужинала черезъ еилу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, — вся дрожу-лежу... А ночь видная, видная. Слышу, проснулся. Все кашляетъ, все выходитъ на дворъ, дверью хлопаетъ.

— Чтò это ты, спрашиваю, ходишь?

— Животъ, говоритъ, болить.

По голосу слышу — тревожится, тоскуетъ.

— Ты, говорю, выпей чернобыльнику съ водкой, вонъ тамъ, въ образничкѣ, бутылка стоитъ.

Полежала еще, — можетъ, и задремала немного, чувствую сквозь сонъ, прокрадывается кто-й-то по полувику. Вскочила—онъ.

— Мамаша, говоритъ, не пугайтесь меня за-ради Христа...

И какъ залетется въ три ручья! Сѣлъ на постель, руки ловить, цѣлуетъ, слезами обливаетъ, а самъ даже захлебывается, — такъ плачетъ-рыдаетъ. Я

не стерпѣла — и себѣ! Жалко, понятно, а дѣлать нечего — изъ-за него вся моя судьба рѣшается. Да онъ и самъ, вижу, понимаетъ это хорошо.

— Простить я тебя, говорю, могу, а подѣлать, ты самъ видишь, теперь ужъ ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подалѣ, чтобъ я и не слышала про тебя!

— Мамаша, говоритъ, за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никаноръ Матвѣича, погубили?

Ну, вижу, человѣкъ еще не въ своемъ умѣ, не стала и спорить. Поплакалъ, заплакалъ, поднялся и ушелъ. А на утро глянула я въ горницу, гдѣ онъ спалъ, а его ужъ и слѣдъ простылъ. Ушелъ, значитъ, пораньше отъ страму — и какъ въ воду канулъ. Былъ слухъ, жилъ будто въ Задонскѣ при монастырѣ, потомъ на Царицынъ подался, а тамъ, небось, и голову сломилъ... Да что объ томъ толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будетъ...

А что онъ про Никаноръ Матвѣича сказалъ, такъ я даже глупо это считаю. Авось ни великими деньгами покористовалась, не изъ кармана вытащила. Онъ самъ свое убожество понималъ, самъ скучалъ часто. Бывало, скажетъ мнѣ:

— И калѣкой меня, Настя, судьба моя сдѣлала, и характеръ у меня сумасходный: то мнѣ весело чего-й-то, какъ передъ бѣдой какой, то такая тоска, особенно лѣтомъ, въ жару, въ пыль эту, — просто руки на себя наложилъ бы! Помру я, похоронятъ меня на Чернослободскомъ кладбищѣ — цѣльный вѣкъ будетъ эта пыль летѣть на мою могилку черезъ ограду!

— Да что жъ, молъ, Никаноръ Матвѣичъ, объ этомъ убиваться? Мы этого чуютъ не будемъ.

— Да это, говорить, что жъ что чуютъ не будемъ,—бѣда та, что при жизни о томъ думаешь...

А, правда, скука, бывало, у насъ въ домѣ, у Самохваловыхъ-то, какъ всѣ позаснутъ послѣ обѣда, а вѣтеръ несетъ эту пыль! И руки-то онъ наложилъ на себя въ страшную жару, въ самое глухое время. Городъ у насъ, правда, скучный. Я вонъ была недавно въ Тулѣ: какое же сравненіе!

Капри. 1911





ЗАХАРЪ ВОРОБЬЕВЪ



На-дняхъ умеръ Захаръ Воробьевъ, по прозвищу Малолѣтка, изъ Осиновыхъ Дворовъ.

Онъ былъ рыжевато-русь, бородатъ и настолько выше, крупнѣе обыкновенныхъ людей, что его можно было показывать. Онъ и самъ чувствовалъ себя принадлежащимъ къ какой-то иной породѣ, чѣмъ прочіе люди, и отчасти такъ, какъ взрослый среди дѣтей, держаться съ которыми приходится однако на равной ногѣ. Всю жизнь, — ему было сорокъ лѣтъ, — не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: въ старину, сказываютъ, было много такихъ, какъ онъ, да переводится эта порода. „Есть еще одинъ въ родѣ меня, говорилъ онъ порою, — да тотъ далеко, подъ Задонскомъ“...

Впрочемъ, настроенъ онъ былъ неизмѣнно превосходно. Здоровъ на рѣдкость. Сложенъ отлично. Онъ былъ бы даже красивъ, если бы не бурый загаръ, не кроваво-вывороченныя нижнія вѣки и не постоянныя слезы, стекломъ стоявшія въ нихъ подъ большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, такъ и хотѣлось потрогать ее. Онъ часто, съ ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывалъ голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И пріятный запахъ шелъ

отъ него: ржаной запахъ степняка, смѣшанный съ запахомъ дегтярныхъ, крѣпко кованыхъ сапогъ, съ кисловатой вонью дубленаго полушубка и мятнымъ ароматомъ нюхательнаго табаку: онъ не курилъ, а нюхалъ.

Онъ вообще былъ склоненъ къ старинѣ. Воротъ его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался. На пояскѣ висѣли мѣдный гребень и мѣдная копаушка. Лѣтъ до тридцати пяти носилъ онъ лапти. Но подросли сыновья, дворъ справился, и Захаръ сталъ ходить въ сапогахъ. Зиму и лѣто не снималъ онъ полушубка и шапки. И полушубокъ остался послѣ него хорошій, совсѣмъ новый. Рукавъ его еще спадаль съ руки чуть не на полъяршина. Зелено-голубые разводы и мелкія нашивки изъ разноцвѣтнаго сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котикъ,—опушка борта и воротника,—былъ еще остистъ и жѣстокъ. Любилъ Захаръ чистоту и порядокъ, любилъ все новое, прочное.

Умеръ онъ совершенно неожиданно для всѣхъ.

Это случилось въ началѣ августа. Онъ только-что отмахалъ порядочный крюкъ. Изъ Осиновыхъ Дворовъ прошелъ въ Красную Пальну, на судъ съ сосѣдомъ. Изъ Пальны сдѣлалъ верстъ пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снималъ онъ землю. Изъ города пріѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ село Шипово и пошелъ въ Осиновые Дворы черезъ Жилыя: это еще верстъ десять. Да не то свалило его.

— Чтò? — удивленно и царственно-строго сказалъ бы онъ своимъ бархатнымъ басомъ.— Сорокъ верстъ?

И добродушно добавилъ бы:

— Чтò ты, малый! Да я ихъ тыщу могу иедѣлать.



Быль первый Спасъ. „Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько“,—шутя сказалъ онъ въ Шиповѣ знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мѣломъ вокзалу, который, какъ всегда лѣтомъ, ремонтировали — „Что жъ не пьешь? Кстати бы и мнѣ поднесъ“,—отвѣтилъ кучеръ. „Не на что, потратился, и такъ въ грузовомъ вагонѣ ѣхалъ“,—сказалъ Захаръ, хотя деньги у него были. Кучеръ подмигнулъ пріятелю, уряднику Голицыну. Пристрѣлъ шиповскій мужикъ, пьяница Алешка. И всѣ трое, вполголоса переговариваясь, вышли слѣдомъ за Захаромъ изъ вокзала. Захаръ и Алешка пошли пѣшкомъ, кучеръ сѣлъ въ телѣжку, запряженную парой, — онъ выѣзжалъ за Петрищевымъ, да тотъ не пріѣхалъ,—урядникъ на дрожки-бѣгунки. И Алешка тотчасъ же затѣялъ споръ: можетъ ли Захаръ выпить въ часъ четверть?

— А съ закуской? — спросилъ Захаръ, широко шагая по сухой землѣ, изрѣзанной колеями, возлѣ высокой кобылы урядника и порой осаживая внизъ оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинникъ, — сказалъ кучеръ, человѣкъ недалекій и низкій по натурѣ, сумрачный, съ свинными глазками.

— А проспоришь, — прибавилъ Алешка, оборванный мужикъ съ переломленнымъ носомъ, промышлявшій сводничествомъ: — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему, — снисходительно отозвался Захаръ, думая о томъ, чего спросить на закуску.

Ему было скучновато съ этими людьми. Онъ отлично понималъ cadaго изъ нихъ: плотва, мелкій народишко! Но на душѣ у него было хорошо эти дни,

— какъ всегда, въ сухую погоду, въ концѣ лѣта, да еще и лѣта-то урожайнаго. Онъ не только не усталъ отъ путешествія въ Пальну, — гдѣ дѣло кончилось превосходно, миромъ, — не только не истомился, промучившись въ городской жарѣ двое сутокъ, но даже чувствовалъ подъемъ, приливъ силъ. Ему всѣмъ существомъ своимъ хотѣлось сдѣлать что-нибудь изъ ряда вонъ выходящее. Да чтò? Выпить четверть — это не Богъ вѣсть какая штука, это не ново... Удивить, оставить въ дуракахъ кучера — не великъ интересъ... Но все-таки на споръ пошелъ Захаръ охотно. И, принявшись за ѣду и питье, сперва наслаждался ѣдой, — ѣсть очень хотѣлось, каждый кусокъ былъ сладокъ, — потомъ своимъ разговоромъ о судѣ.

Былъ четвертый часъ жаркаго дня; но на сотни верстъ вокругъ села, въ просторѣ желтыхъ полей, покрытыхъ копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль сѣрѣла и лоснилась на пиповской площади, на припекѣ. Площадь отдѣляютъ отъ села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отдѣленіе, голубой домъ купца Яковлева съ палисадникомъ при немъ и двѣ лавки его въ особомъ срубѣ на углу. Возлѣ черной лавки ступеньками наваленъ палевый сосновый тесъ. Пахнутъ тутъ смолой, свѣтлыя, клейкія капли которой проступаютъ на тесѣ, пылью, калачами и тѣмъ непередаваемымъ, сложнымъ, чтò присуще сельскимъ лавкамъ. Сидя на нижней ступени теса, Захаръ пилъ, ѣлъ, говорилъ и смотрѣлъ на площадь, на блестящія подъ солнцемъ рельсы, на шлагбаумъ горбатаго переѣзда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидѣлъ рядомъ съ нимъ и тоже закусывалъ — подрукавнымъ хлѣбомъ. Урядникъ — скучный,

запыленный человекъ съ подстриженными усами, въ обтрепанной шинели съ оранжевыми погонами — урядникъ и кучеръ курили, одинъ на дрожкахъ, другой въ телѣжкѣ. Лошади дремали, терпѣливо ждали, когда прикажутъ имъ трогаться. А Захаръ рассказывалъ.

— Чѣмъ дѣло-то кончилось? — говорилъ онъ. — Да ничѣмъ. Помирились. Я этихъ судовъ, пропади они пропадомъ, с'отроду не знавалъ, ни съ кѣмъ не судился. Мнѣ самъ батюшка-покойникъ заказывалъ эти свары. А тутъ и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Онъ уже выпилъ бутылки три — изъ деревяннаго корца, который досталъ на дворѣ Яковлева Алешка; онъ дѣлалъ свое дѣло столь легко, будучи столь увѣреннымъ въ себѣ, что даже не замѣчалъ того, что дѣлалъ. Кучеръ, урядникъ и Алешка были выжидательно возбуждены и изо всѣхъ силъ прикидывались спокойными, хотя душа каждого изъ нихъ горячо молила Бога, чтобы Захаръ упалъ замертво. А онъ только разстегнулъ полущубокъ, чуть сдвинулъ папку со лба, покраснѣлъ. Онъ съѣлъ двѣ таранки, громаднѣйшій пукъ зеленаго луку и шесть французскихъ хлѣбовъ, съѣлъ съ такимъ вкусомъ и толкомъ, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмѣшливо говорилъ:

— А на судахъ этихъ чудно, пропади они пропадомъ! Я и итить-то туда не хотѣлъ. Слышу — подалъ прошенье. Ну, подалъ и подалъ, не замай, а я, молъ, не пойду. Только вдругъ пріѣзжаетъ въ Пальну начальство, присылаетъ за мной самъ за-сѣдатель. Ахъ, пропасти на тебѣ нѣту! Ничего не подѣлаешь — надо итить. Взялъ хлѣбушка, поперъ. Жара ужасная, пыль по дорогѣ какъ пысъ, альни

итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шелъ дюже поспѣшно, являюсь...

Держа пустѣющую бутылъ подъ мышкой, онъ цѣдилъ въ темный корецъ свѣтлую влагу, наполняя его до краевъ и, разгладивъ усы, припадалъ къ ней, пахнущей остро и сытно, влажными губами; тянулъ же медленно, съ наслажденіемъ, какъ ключевую воду въ жаркій день, а допивъ до дна, кричалъ и, перевернувъ корецъ, вытряхивалъ изъ него послѣднія капельки. Потомъ осторожно ставилъ бутылъ возлѣ себя. Кучеръ не спускалъ съ нея своихъ угрюмыхъ глазъ; урядникъ, уже передвинувшій тайкомъ стрѣлку часовъ на цѣлую четверть впередъ, тревожно переглядывался съ Алешкой. А Захаръ, поставивъ бутылъ, бралъ двѣ-три длинныхъ зеленыхъ стрѣлки лука, ломая, забивалъ ихъ въ большую деревянную солонку, въ крупную сѣрую соль, и пожиралъ съ аппетитнымъ, сочнымъ хрустомъ. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но онъ улыбался, грудной басъ его былъ звученъ, ласковъ, пріятно-насмѣшливъ.

— Ну, являюсь, — говорилъ онъ, прожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улицѣ вездѣ народъ, подъ лозинкой въ холодкѣ сидитъ засѣдатель въ майскомъ пинжаку, съ русой бородкой, на столикѣ книги усякія, бумаги, а рядомъ, — Захаръ повелъ рукой налѣво, — урядникъ что-й-то записываетъ краснымъ осьмиграннымъ карандашикомъ. Вызываютъ хрестьянина Семена Галкина, обуховскаго. „Семенъ Галкинъ!“ — „Здѣсь“. — „Поди суда“. Подходить; начинаютъ допрашивать. А онъ на урядника и не глядитъ, достаетъ грушу изъ кармана, стоитъ, ѣстъ. Урядникъ приказываетъ: „Кинь грушу!“ Онъ не слушается, доѣдаетъ...



— По мордѣ бы его этой грушой, — сказали кучеръ.

— Вѣрно! — подтвердилъ Захаръ, разламывая седьмую, послѣднюю булку. — Стоитъ и лопаешь! Обращается засѣдатель къ уряднику. „Вотъ, говоритъ, господинъ урядникъ, этотъ самый хрестьянинъ Семенъ Галкинъ, когда я прошлый разъ съ описью прѣзжалъ, отказался платить по исполнительному листу сорокъ восемь рублей восемь гривенъ, а когда я хотѣлъ описать какой есть его лѣсшшко и анбаръ, то, говоритъ, этотъ самый Галкинъ со своими дружьями, двумя братьями Иваномъ и Богданомъ, сѣли на дерева, на бревна эти возлѣ избѣ и не дозволили мнѣ свершить опись. А когда я взошелъ къ ему въ избу, то онъ какъ бы невзначай спросилъ у своей жанѣ, гдѣ тутъ у насъ безменъ, что было сказано про меня, и я это принялъ на свой счетъ, а Богданъ тѣмъ временемъ подошелъ къ окну и съ косою на плечѣ, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А какъ я былъ одинъ, то принужденъ былъ удалиться. Вотъ извольте спросить его жану Катерину и мать Оеклу и показанія отъ ней занести въ протоколъ. А еще въ опросный листъ занесите показанье церковнаго старости, хрестьянина Оедота Левонova. А еще, что сельскій староста Герасимъ Савельевъ, въ энтотъ день пропалъ бѣзъ-вѣсти и на мои требованія не явился, а когда я уходилъ отъ Галкина къ Митрію Овчинникову, идѣ былъ мой меринъ, и проходилъ мимо его избѣ, то онъ притравилъ меня кобелемъ, а самъ спрятался за ворота, что я замѣтилъ очень хорошо, и посвистывалъ, да слава Богу, что такъ случилось, что кобель меня не поранилъ, хоть кидался прямо на грудь, сигналъ какъ



бѣшенный, все благодаря Митрію, который выско-  
чилъ съ кнутомъ и тѣмъ меня оградилъ...

Захаръ, увлекаясь ладностью своего разсказа, точно прочиталъ послѣднія слова. Безъ передышки, звучно и твердо передавъ заявленіе засѣдателя, онъ хотѣлъ-было продолжать, но Алешка не вытерпѣлъ и крикнулъ:

— Потомъ доскажешь! Пей! Урядникъ, глянь-ка на часы-то.

— Успѣется, успѣется, — отвѣтилъ урядникъ и подмигнулъ Алешкѣ.

Но не замѣтилъ этого Захаръ.

— Да не гамазись ты, чортъ курносый! — гаркнулъ онъ добродушно. — Дай доказать-то! Я свою время знаю, — выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краюшкахъ кованыхъ каблуковъ, — онъ съ гордостью выставилъ сапоги и порою безъ нужды подтягивалъ голенища, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись съ мужикомъ, проѣхавшимъ мимо въ пустой телѣгѣ и внимательно оглядѣвшимъ его, онъ шумно, черезъ ноздри вздохнулъ, взялъ обѣими руками борты жаркаго полушубка, двинулъ воротъ назадъ и продолжалъ, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображеніе, игрой своего ума.

— „Катерина Галкина!“ — громко, грудью говорилъ онъ, изображая всѣхъ въ лицахъ. — „Къ допросу. Подойди поближа!“ Подходитъ. — „Слышала, что господинъ засѣдатель сказали?“ — „Слышала...“ А сама плачетъ, заикается, ничего толкомъ разсказать не можетъ. „Правда ли, что твой мужъ безменъ про господина засѣдателя упомянулъ?“ — „Я, говорить, этого ничего знать не могу.

Хотѣлъ мужъ ъсты вѣшать“. — „Значить, ты отъ этого отказываешься?“ — „Ничего про эти дѣла не знаю. Ѳедька всему первый полководецъ. Его опросите, — и дѣло къ развязкѣ, и грѣха меньше...“ Кличутъ сейчасъ старуху Ѳеклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвѣчаетъ — ноздри рветъ. Имущество, говоритъ, моя, за сына я не плательшица, по правамъ покойнаго мужа всѣмъ владаю, а у сына ничего нѣту, одни портки“. — „А сынъ-то чей же?“ — „Мой“. — „А разъ сынъ твой, и толковать нечего, за неплатежъ имущество отвѣчаетъ. Ступай, не разговаривай, а за дерзкій отвѣтъ посажу тебя въ арестанку на двое сутокъ на-хлѣбъ, на-воду...“ Угломонилъ, значить, старуху. Вспрашиваетъ, идѣ церковный титоръ Ѳедотъ Легоновъ? Подходить дочь его Винадорка. „Идѣ отецъ?“ — „Въ клѣти, послѣ обѣдни отдыхаетъ“. — „Бѣги, зови его суда. Скажи, начальство требуетъ...“ А онъ черезъ дворъ живетъ...

— Близко, значить?—перебилъ урядникъ и быстро переглянулся съ Алешкой и кучеромъ.—Такъ, такъ... Ну, доказывай, доказывай. Ты, братъ, на удивленіе гораздъ рассказывать!

Онъ говорилъ, что попало, лишь бы отвлечь вниманіе Захара,—онъ, вынувъ часы и спрятавъ ихъ между колѣнями, передвигалъ стрѣлку еще на десять минутъ впередъ. И Захаръ, съ просіявшимъ отъ похвалы лицомъ, еще шумнѣе выдохнулъ воздухъ, мотнулъ головой, отсаживая горячій густой мѣхъ полущубка отъ лопатокъ, и загудѣлъ еще выразительнѣе:

— Вѣрно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лѣзетъ изъ низкой клѣтки приземистый старикъ... Идетъ черезъ дорогу въ избу—

безъ шапки, въ розовой новой рубахѣ распояской, и воротъ отъ жары разстегнулъ. А изъ избѣ выходитъ въ новой теплой поддевкѣ, подпоясанъ зеленой подпояской, шапку въ рукахъ несетъ. Подходитъ. Волосы густые, сѣдые, разложены въ родѣ какъ рожки у барана, на обѣ стороны. Съ урядникомъ, съ засѣдателемъ — за ручку. (Богатый, видать, старикъ). Пошушукался что-й-то съ ними, показываетъ на Сеньку. Потомъ вынимаетъ большой гаманъ кожаный, сталъ отсчитывать трехрублевки обмороженными култышками... Потомъ Винадорку кличетъ. Приказываетъ самоваръ ставить, зоветъ къ себѣ урядника и засѣдателя чай пить: „Приходите мою охоту посмотрѣть, пчелъ моихъ, и какую я сабѣ посуду завелъ. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, свѣтла,—вся писаная, въ яблокахъ!“—Смѣется, морщится, гнилые корешки въ красномъ ротѣ показываетъ... „Не посмотрѣть, говоритъ, нельзя, того лошадиный законъ требуетъ. А можетъ, и сторгуемся, про что говорили-то“... И опять смѣется, сипитъ, какъ змѣй. Пошелъ къ избѣ, заскребаётъ пыль сапогомъ по дорогѣ — хворситъ...

— Форситъ-то, форситъ,—вдругъ опять перебилъ урядникъ, вынимая часы,— а вѣдь пять минутъ всего осталось. Тебѣ теперь однимъ духомъ надо допивать.

Лицо Захара сразу измѣнилось.

— Какъ? — строго крикнулъ онъ. — Да ты брешешь! Ужли цѣльный часъ прошелъ?

— Прошелъ, братъ, прошелъ! — подхватили кучеръ и Алешка. — Допивай, допивай!

Захаръдохнулъ, какъ кузнечный мѣхъ, и закрылъ глаза.

— Стойте! — сказалъ онъ. — Это не ладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрѣлъ весь. Жара! Августъ! Чортъ съ вами, я вамъ лучше самъ бутылку поставлю. А вы мнѣ сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этотъ самый судъ! — попросилъ онъ сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнуть кучеръ насмѣшливо. — Жидокъ на расправу!

Захаръ остановилъ на немъ кровавый, тяжелый взглядъ. Потомъ, ни слова не говоря, взять бутылъ за горло, до дна опорожнилъ ее, съ краями наполнивъ корецъ, и до дна высосалъ его. И, слегка задохнувшись, грубо сказалъ:

— Ну? Сытъ ты, ай нѣтъ?... А теперь—буду доказывать!—съ упрямствомъ хмелѣющаго человѣка сказалъ онъ. — Вотъ ты и глянешь, напоилъ ты mine, али у тебя и потроху не хватитъ на это...

И вдругъ опять повеселѣли страшные глаза его, лицо опять стало важнымъ и добродушнымъ.

— Таперь вы обязаны слушать! — всей грудью сказалъ онъ и продолжалъ, но уже не такъ складно и хорошо: — Оposлѣ старика этого вызываютъ знахаря, Василь Иванова. Этотъ совсѣмъ худой, въ поддевки сѣрой, виски въ родѣ пеньки и бородка клинушкомъ. И еще пуще старика морщится,—не то отъ солнца, не то отъ хитрости... шатъ его знаетъ. Этотъ, выходитъ, старуху опоилъ. Давалъ ей лѣкарству какую-то,—бываетъ, велѣлъ пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вызываютъ его. „Какъ тебя зовутъ?“ — „Быль Василій“. — „Кто тебѣ далъ праву лѣчить, мерзавецъ?..“ А у нихъ ужъ раньше, конечно, былъ говоръ: Васька, не-



бось, ужъ сунулъ сотельную имъ. Ну, а при народѣ, извѣстно, надо же для близиру поорать. Вспрашивалъ, спрашивалъ, потомъ опять какъ закричить на него: „Скройся съ глазъ моихъ въ осинникъ!“ Тотъ будто и испужался: шапку поскорѣе на голову—и шмыгъ, шмыгъ въ осинникъ... Такъ, значить, дѣло и затерли. Поглядѣлся урядникъ въ зеркальцо, поправилъ саблю, сложилъ свои бумаги... „Ну, говоритъ, идемъ, что ль, къ старику-то? Очень мнѣ хочется, чтобъ меринъ еще отдохнулъ“.— „А сколько сейчасъ время?“ Вынулъ урядникъ новые часы, селебряные, глянулъ: „Тридцать восемь перваго, говоритъ,—время петербургская“.— „Ну, пойдемте, надо его охоту посмотрѣть, старикъ добре гордится“... Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, разсѣлись, какъ вѣроны, на срубленныхъ деревьяхъ возлѣ избѣ, подняли гамъ. Иные говорятъ, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всѣхъ какой-то худой мужикъ оретъ, срѣзался со старикомъ однимъ. Мужикъ кричитъ, что плохо у насъ жить, по чужимъ странамъ и то лучше, киргизу и то способнѣй, — у того, по крайности, степя аграматная... А старикъ кричитъ, лапить, что у насъ лучше. А мужикъ опять же не подается: „у насъ, говоритъ, дубъ дюже великъ выросъ, да дупло добре широка и нитокъ много распустилъ...“ Чуете, къ чему гнетъ-то?—подмигнуть Захаръ.

Ему казалось, что онъ могъ бы говорить безъ конца и все занятнѣе, все лучше, но, послушавъ его, убѣдившись, что дѣло пропало, свелось только на то, что Захаръ опилъ, обѣлъ ихъ да еще безъ умолку рассказываетъ чепуху, кучеръ и урядникъ тронули лошадей и уѣхали, оборвавъ его на полу-

словѣ. Алешка посидѣлъ немного, поподдакивалъ, выпросилъ четыре копейки на табакъ и ушелъ на станцію. И Захаръ, совершенно неудовлетворенный ни количествомъ выпитаго ни собесѣдниками, остался одинъ. Повздыхалъ, помоталъ головой, отодвигая воротъ полушубка, и чувствуя еще большій, чѣмъ прежде, приливъ силъ и неопредѣленныхъ желаній, поднялся, зашелъ въ винную лавку, купилъ бутылку и зашагалъ по переулку вонъ изъ села.

— У насъ дубъ великъ выросъ,—насмѣшливо и съ удовольствіемъ повторялъ онъ мысленно, чуя въ этихъ словахъ какой-то чудесный намекъ на что-то.—Дубъ выросъ дюже великъ...

Онъ шелъ по пыльной дорогѣ въ открытомъ полѣ, въ необозримомъ пространствѣ неба и желтыхъ полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубокъ Захара блестѣлъ. Направо отъ него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тѣнь съ сіяніемъ вокругъ головы. Сдвинувъ горячую шапку на затылокъ, заложивъ руки назадъ, подъ полушубокъ, Захаръ твердо ступалъ по твердой подъ слоемъ пыли землѣ, не мигая, какъ орелъ, смотрѣлъ то на солнце, то на широко раскрывшійся послѣ косыбы степной просторъ, похожій на просторъ песчаной пустыни, на раскинутыя по немъ несмѣтныя копны, похожія вдали на гусеницъ, — и по горизонтамъ, по копнамъ мелькали передъ его кровавыми, слезающимися глазами несмѣтныя круги—малиновые, фіолетовые и малахитовые. „А все-таки я пьянъ!“—думалъ онъ, чувствуя, какъ замираетъ и бьетъ въ голову сердце. Но это ничуть не мѣшало ему надѣяться, что еще будетъ нынче что-то необыкновенное. Онъ останавливался, пилъ и

закрывалъ глаза. Ахъ, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сдѣлать что-нибудь удивительное! И опять широко озиралъ горизонты. Онъ смотрѣлъ на небо — и вся душа его, и на-смѣшливая и наивная, полна была жажды подвига. Человѣкъ онъ особенный, онъ твердо зналъ это, но что путнаго сдѣлалъ онъ на своемъ вѣку, въ чемъ проявилъ свои силы? Да ни въ чемъ, ни въ чемъ! Старуху пронесъ однажды на рукахъ верстъ пять... Да объ этомъ даже и толковать смѣшно: онъ бы могъ десятокъ такихъ старухъ донести куда угодно!

Воображеніе его, жадное во хмелю до картинъ, требовало работы. Онъ шагаль все шире, твердо рѣшивъ не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилыхъ раньше, чѣмъ оно сядетъ, — и думалъ, думалъ... Бутылка подходила къ концу. И онъ чувствовалъ, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мѣщанина, сидѣльца въ Жильской винной лавкѣ, на большой дорогѣ. Солнце опускалось; на смѣну ему поднимался съ востока полный мѣсяцъ, блѣдный, какъ облачко, на ровной сухой синевѣ небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымокъ тянулъ откуда-то въ остывающемъ воздухѣ; оранжево краснѣли лучи, сыпавшіеся слѣва по колкому сквозному жнивью, краснѣла пыль, поднимаемая сапогами Захара; отъ каждой копны, отъ каждой татарки, отъ каждой былинки тянулась тѣнь. „Да нѣтъ, шалишь, не обгонишь!“ — думалъ Захаръ, поглядывая на солнце, вытирая потъ со лба и вспоминая то битюга-жеребца, котораго за переднія ноги поднялъ онъ однажды на ярмаркѣ, заспоривъ о силѣ съ мѣщанами, то литой чугунный приводъ, который выво-

локъ онъ прошлымъ лѣтомъ изъ риги на гумнѣ барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащилъ онъ на рукахъ, не обращая вниманія на ея страхъ и мольбы отпустить душу на покаяніе. Остановясь, раздвинувъ ноги, отъ которыхъ столбами пала тѣнь на жнивье, Захаръ вынулъ изъ глубокаго кармана полущубка бутылку, глянулъ на нее противъ солнца и весело ухмыльнулся, увидавъ, что и бутылка и водка въ ней зарозовѣли. Закинувъ голову, онъ вылилъ водку въ разинутый ротъ, не касаясь бутылки губами, и хотѣлъ-было запустить ее выше самаго высокаго, самаго легкаго дымчатаго облачка въ глубинѣ неба. Но, подумавъ, удержался: — и такъ израсходовался! — сунулъ бутылку въ карманъ и опять зашагалъ, съ удовольствіемъ вспоминая старуху.

— Ахъ, расчудесная была старуха! — думалъ онъ, глядя то на солнце, то на сѣрѣющія за дальними копнами избы Жилыхъ. — Шелъ онъ недавно по паровому полю. Глядь, лежитъ на сухой навозной кучѣ старуха-побирушка и стонетъ. Былъ онъ порядочно выпивши, и, какъ всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, добраго или злого... даже, пожалуй, скорѣй добраго, чѣмъ злого. „Бабка! — крикнулъ онъ, быстро подходя къ старухѣ. — Ай помираешь? Ай убилъ кто? Чѣмъ передъ кѣмъ провинилась?“ Старуха, — она была вся въ лохмотьяхъ, блѣдное лицо ея было въ запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. „Да что жъ ты молчишь? — гаркнулъ Захаръ грозно. — Разъ тебе спрашиваютъ, можешь ты мнѣ не отвѣчать? Значить, такъ и будешь лежать? Скотину скоро погонять — баранъ заваливаетъ, замучаетъ... Вставай



сію минуту!“ Старуха вдругъ заголосила, взглянувъ на него, огромнаго и страшнаго. „Батюшка, не трожь меня! Меня и такъ быкъ закаталъ. Пожалѣй меня, несчастную!“ — „Не могу я тебя пожалѣть! — еще грознѣе заоралъ Захаръ, почувствовавъ вдругъ жалость и нѣжность къ старухѣ. — Вставай, говорятъ тебѣ!“ Старуха приподнялась и тотчасъ же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя отъ жалости, Захаръ сгребъ ее въ охапку и почти бѣгомъ помчалъ къ селу. Старуха, обхвативъ обѣими руками его воловью шею, задыхаясь отъ запаха водки, исходившаго отъ него, тряслась на бѣгу, а онъ, боясь заплакать, быстро бормоталъ, стараясь, сколь возможно, смягчить свой басъ: „Да чтò ты? Ай очумѣла? Чего боишься? Молчи, — говорю тебѣ, молчи, ни объ комъ не думай! Обо всемъ забудь!“ — „Не могу, батюшка! — отвѣчала старуха — Никакого счастья не вижу себѣ, одна во всемъ свѣтѣ, ни напитоковъ ни наѣдковъ сладкихъ отроду не видала...“ — „А я табѣ говорю, не голоси! — говорилъ Захаръ. — Всякій свою стежку топча! У всякаго своя печаль! Копти! — гаркнулъ онъ на все поле, ощутивъ внезапный приливъ бурной радости. — Ёшь солому, а хворсу не теряй! Сейчасъ за мое почтеніе доставлю тебя и хватуру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачѣмъ къ стаду лѣзла? Тебѣ надо округъ бабъ находиться. Съ ними ты можешь разговоръ поддержать. А быкъ, онъ, братъ, не помилуетъ!“ — „Охъ, постой, — застонала старуха, уже смѣясь сквозь слезы. — Всю душу вытрясь...“ И Захаръ заоралъ еще грознѣй: „Бабка, молчи! А то вотъ шаракну тебя въ ровъ — костей не себе-

решь!" И захохоталъ, раскрывая пасть, раскачивая старуху и дѣлая видъ, что хочетъ со всего размаху пустить ее съ косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо отъ прилива крови и потно, сердце молотами било въ голову, когда, гордо глянувъ на мутно-малиновый шаръ, еще не успѣвшій коснуться горизонта, быстро вошелъ онъ въ Жилыя, — двѣ степныя деревни, отдѣленные другъ отъ друга лощиной съ тремя прудами. Въ деревняхъ было мертвенно-тихо. Нигдѣ ни единой души. Ровная блѣдная синева вечерняго неба надо всѣмъ. Далекій лѣсокъ, темнѣющій въ концѣ лощины. Надъ нимъ полный, уже испускающій сіяніе мѣсяцъ. Длинный, голый зеленый выгонъ и рядъ избъ вдоль него. Три огромныхъ зеркала, а между ними двѣ широкихъ навозныхъ плотины съ голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьевъ. На другомъ боку другой рядъ избъ. И такъ четко все въ этотъ короткий часъ между днемъ и ночью: и контуры сѣрыхъ крышъ, и зелень выгона, и сталь прудовъ. Одинъ, слѣва, чуть розовѣтъ, прочіе — двѣ зеркальных бездны, въ которыхъ точно влиты отраженный мѣсяцъ и каждый стволъ, каждый сучокъ.

— Фу, пропасти на васъ нѣту! — шумно вздохнулъ Захаръ, приостанавливаясь. — Какъ подошли всѣ!

Ему захотѣлось рывкнуть такъ, чтобы въ ужасѣ высыпалъ на выгоны весь этотъ мелкій народишко, спрятанный по избамъ. „Да нѣтъ, нѣтъ, — подумалъ онъ, мотая головой: — опалѣлъ я, пьянъ... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорѣй... Домой...“

И вдругъ почувствовалъ такую тяжкую, такую

смертельную тоску, смѣшанную со злобой, что даже закрылъ глаза. Лицо его стало котельнаго цвѣта, отдѣлилось отъ русой бороды, уши вспухли отъ прилива крови. Какъ только закрылись его глаза, такъ сейчасъ же запрыгали во тѣмѣ передъ нимъ тысячи малахитовыхъ и багряныхъ круговъ, а сердце замерло, оборвалось — и все тѣло мягко ухнуло куда-то въ пропасть. Ахъ, домой бы теперь, да въ ригу, да въ солому! Но, постоявъ, Захаръ открылъ глаза и, вмѣсто того, чтобы свернуть влѣво, на Осиновыя Дворы, упорно зашагалъ, перейдя плотину, по задворкамъ второй деревни и вышелъ на большую дорогу, къ винной лавкѣ.

О, какая тоска была на этой пустынной, безконечной дорогѣ, въ этихъ блѣдныхъ равнинахъ за нею, въ этотъ молчаливый степной вечеръ! Но Захаръ всѣми силами противился тоскѣ, говорилъ безъ умолку, пилъ все жаднѣе, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжаго, со стоячими бѣлыми глазами мѣщанина, подло и радостно засуетившагося, когда Захаръ предложилъ ему поспорить: можетъ онъ, Захаръ, выпить еще двѣ бутылки, или нѣтъ? Винная лавка, вымазанная мѣломъ, странно бѣлѣла противъ блеклой синевы восточнаго небосклона, на которомъ все прозрачнѣе и свѣтоноснѣе дѣлался кругъ мѣсяца. Возлѣ лавки стоялъ столикъ и скамейка. Мѣщанинъ, въ ситцевой рубахѣ и обтертыхъ до-красна опойковыхъ сапогахъ, торчалъ возлѣ стола, осѣвъ на одну ногу и касаясь земли носкомъ другой, — безобразной, съ высокимъ подъемомъ, съ большимъ каблукомъ, — выставивъ кострець, и, какъ обезьяна, съ необыкновенной ловкостью и быстротой грызъ подсолнухи, не спуская своихъ бѣлыхъ съ

Захара. А Захаръ, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно желѣзными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнушія губы, обрывая каждое слово бурнымъ вздохомъ, плохо соображая, что онъ говоритъ, поминутно проваливаясь въ какую-то черную пропасть, спѣшилъ, спѣшилъ досказать, какъ онъ несъ старуху...

И вдругъ, размахнувшись всѣмъ туловищемъ, быстро всталъ, далеко отшвырнулъ ногой столъ вмѣстѣ съ зазвенѣвшей бутылкой и граненымъ стаканомъ и хрипло сказалъ:

— Слухай! Ты!

И мѣщанинъ, уже разинувшій-было ротъ, чтобы крикнуть на Захара за безчинство, взглянувъ на его бѣло-сизое лицо, онѣмѣлъ. А Захаръ, собравъ послѣднія силы, не давъ сердцу разорваться прежде, чѣмъ онъ скажетъ, твердо договорилъ:

— Слухай. Я помираю. Шабашъ. Не хочу тебя подъ бѣду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошелъ на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнулъ колѣни — и тяжело, какъ быкъ, рухнулъ на спину, раскинувъ руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка для Жилыхъ. Отовсюду безшумно бѣжали бабы и ребятишки къ кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свѣтъ прозрачнѣйшимъ дымомъ стоялъ надъ сухими жнивьями. А среди большой дороги бѣлѣло и блестѣло что-то огромное, страшное: кто-то покрылъ коленкоромъ мертвое тѣло. И босыя бабы, быстро и безшумно подходя, крестились и робко клали мѣдяки въ его возглавіи.





# ДРЕВНІЙ ЧЕЛОВѢКЪ



Рано чувствуется осень, ея спокойствіе. Начало августа, а похоже на свѣтлый сентябрь, когда жарко лишь въ затишьѣ, на припекѣ.

Учитель Иваницкій, человѣкъ молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающійся по самому малѣйшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогономъ черезъ усадьбу нищихъ князей Козельскихъ. Заложивъ одну руку за широкий поясъ, которымъ подпоясана длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики рѣдкихъ бѣлесыхъ усовъ, учитель горбитъ свой истязной станъ и щуритъ зоркіе зеленоватые глаза. Онъ гуляетъ, прощаясь съ деревней, — онъ на-дняхъ уѣзжаетъ въ Москву, въ университетъ.

Направо — большой садъ за соломеннымъ валомъ; налево — старая кузня, развалины псарни, пустыя сушилки изъ розовыхъ кирпичей, а между ними — проѣздъ на безконечное и тоже пустое гумно. Въ саду, уже порѣдѣвшемъ, — тишина, косой солнечный блескъ; кое-гдѣ золотится радужная паутина; спокойно лежатъ пятна тѣней подъ яблонями; порой съ короткимъ стукомъ падаетъ въ шелковистую, сухую траву спѣлое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся въ наростахъ мха — бархатно-изумрудныхъ, съ коричневымъ отли-



вомъ. Раскрытыя сушилки тяжелы, грубы, очертаніями своими говорятъ о чемъ-то давнишнемъ. И все это, — мохъ на кузнѣ, псарня, заросшая лопухами, голыя стропила надъ розовыми стѣнами, — все это такъ чудесно на ясномъ голубомъ небѣ среди бѣлыхъ круглыхъ облаковъ. На огромномъ пустырѣ гумна воробьи ливнемъ пересыпаются съ одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовѣвшій осинникъ... Учитель идетъ къ Соловьевымъ, еще разъ хочетъ повидаться передъ отѣздомъ съ ихъ дѣдомъ Таганкомъ. Древенъ онъ, какъ говорятъ въ Козельщинѣ: ему сто восемь, онъ знаменитость.

За усадьбой — улицы среди дворовъ и огородовъ. Учитель поворачиваетъ налево, въ ту улицу, что пролегаетъ между валомъ гумна и старыми избами бывшихъ княжескихъ крѣпостныхъ. Конецъ ея какъ бы упирается въ небосклонъ — чуть зелен оватый сентябрьскій. Сентябрь и въ верхушкахъ лозинъ, кое-гдѣ растущихъ передъ избами и сквозящихъ мелкой, желтѣющей листвою на бѣлыхъ облакахъ и лазури; сентябрь въ золотистомъ солнечномъ свѣтѣ и въ прозрачной тѣни, падающей отъ избъ на улицу, на водовозки, прикрытыя пѣгими попонами и армяками... Учитель идетъ и косится на избы, на ихъ окошечки и крыльца.

Окошечки крохотныя, темныя. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возлѣ нихъ. Въ крѣпкой, какъ чугуны, засохшей грязи, въ которую вросли тряпки, сгнившіе лапти, лежатъ большіе камни, на которыхъ обѣдаютъ и ужинаютъ. Дѣти кричатъ, перекликаются, лазаютъ по камнямъ. Много дѣтей въ Козельщинѣ, и какъ сопливы они, въ какихъ болячкахъ ихъ щеки и губы!

— Чтò это ты дѣлаешь? — окликаетъ учитель дѣвочку, стоящую у камня.

Она хвора́я, худая, темноглазая, въ бабкиныхъ лаптяхъ, закутана темнымъ пеньковымъ платкомъ. Она шлепаетъ по камню ручками, дѣлаетъ видъ, что стираетъ, льетъ воду, бьетъ валькомъ. Услыхавъ учителя, она растерянно смотритъ на него и со всѣхъ ногъ кидается къ избѣ.

— Какъ тебя зовутъ? — спрашиваетъ учитель толстаго голубоглазаго мальчика подъ лозинкой у двора Ооминыхъ.

Мальчикъ молчитъ. Учитель повторяетъ вопросъ. Мальчикъ пьтится къ лозинкѣ, поднимаетъ грудь, надувается такъ, что багровѣетъ, и молчитъ.

Озабоченно бродятъ куры, раздираютъ лапами волю, землю, клюютъ что-то, кудахтаютъ, приманивая цыплятъ. У двора Климовыхъ спитъ подъ водовозкой старуха. Тѣнь отъ избъ скосилась, передвинулась, солнце падаетъ на водовозку, печетъ лицо, такъ густо облѣпленное мухами, точно на немъ черный рой привился, печетъ худой кострець, голыя ноги, блестящія отъ загара. Мальчикъ лѣтъ пяти, въ штанахъ съ помочами и шерстяныхъ красныхъ чулкахъ, носится среди цыплятъ, бѣгающихъ и на бѣгу клюющихъ по землѣ и по ногамъ старухи мухъ, и все норовитъ затоптать хоть одного изъ нихъ; цыплята съ пискомъ рассыпаются, и онъ останавливается, выжидаетъ, когда они соберутся въ кучку, а какъ только соберутся, опять со всѣхъ ногъ летитъ на нихъ. Другой, лѣтъ двухъ, хлопочетъ возлѣ дуги, только-что выкрашенной коричнево́й краской и прислоненной къ крыльцу; дуга падаетъ, прихлопываетъ его къ землѣ, и онъ закатывается благимъ матомъ. Учитель бѣжитъ освобождать его.

— Эй, бабка! Проснись, чортъ тебя возьми совсѣмъ!  
— кричитъ онъ, схвативъ ревущаго ребенка и не зная, что съ нимъ дѣлать.

Старуха поднимаетъ голову и сначала ничего не понимаетъ: глаза тупы, ротъ раскрытъ, платокъ сбился на сторону вмѣстѣ съ сѣдыми волосами. Потомъ она быстро поднимается, шатаясь, идетъ къ учителю, вырываетъ ребенка изъ неумѣлыхъ рукъ и лѣзетъ на крыльцо. Тамъ она кидаетъ его на полъ, усыпанный пшенной кашей, и онъ сразу затихаетъ: елозитъ по крыльцу, подбираетъ съ полу кашу вмѣстѣ съ грязью и суетъ себѣ въ ротъ. А старуха садится на лавку и, поправляя шлыкъ, провожаетъ учителя тяжелымъ, злымъ взглядомъ.

Соловьевы раздѣлились. Таганокъ живетъ у Глѣба. Но учитель идетъ сперва къ двору его другого внука, плотника Григорія. Григорій похожъ слегка на Мефистофеля, но человѣкъ пріятный. Теперь онъ стоитъ на прогалинѣ между избою и погребомъ, въ проходѣ на гумна, посреди квадрата изъ трехъ ярусовъ новыхъ, тѣлеснаго цвѣта бревенъ: рубить себѣ амбаришко. На немъ городской картузь, еще не мытая ситцевая рубаха, вздутая розовымъ измятымъ пузыремъ, штаны изъ чортовой кожи и сапоги: Соловьевы — первые жители въ Козельщинѣ. Увидавъ гостя, онъ легонько и ловко всѣкаетъ въ бревно блеснувшій на солнцѣ топоръ. Здороваются, садятся на срубъ, закуриваютъ.

— Къ Таганку? — спрашиваетъ Григорій.

— Къ нему. Давно не видалъ...

— Что жъ, дѣло хорошее. Пройдите, провѣдайте. Онъ это любитъ.

— А какъ его дѣла? Дряхлѣетъ?

— Нѣтъ, скрипитъ еще помаленьку. А, конечно, не наше съ вами дѣло: вѣдь сто восемь.

— Смерти не просить у Бога?

— Да какъ сказать? Пожить ему, кажись, еще страсть какъ хочется, да, извѣстно, житье стари-ковское не сладкое.

— А что?

— Да чтò, надо правду говорить: бьютъ они его, голодомъ морятъ — вотъ главная вещь.

— Все сноха?

— Извѣстно, она. Да я такъ думаю, всему причина братъ Иглѣбъ. Его допущеніе. Онъ должонъ защищать, кому же больше? Самъ-то Таганокъ, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидѣлъ.

— Серьезно, бьютъ?

— А то какъ же? Еще какъ серьезно-то! Иной разъ такъ толкануть... Онъ мнѣ ужъ сколько жаловался. Да чтò бьютъ! У нихъ вонъ шесть пудовъ одной ветчины виситъ, — повѣрите, ребрышка никогда не дадутъ. Сами, какъ праздникъ, за чай, а онъ чашечки попросить боится. Ничтожности жалѣютъ...

— Нда-а, — задумчиво говоритъ учитель.

Сипятъ кузнечики въ бурьянѣ на припекѣ. Все сохнетъ, роняетъ черныя зерна: крапива, бѣлена, репы, подсевокольникъ. Баба, въ красной юбкѣ, въ бѣлой рубахѣ, стоитъ въ чащѣ коноплянниковъ выше ея ростомъ, беретъ замашки. За коноплянниками сѣрбуютъ риги, желтѣютъ новые скирды.

— Нда-а, — говоритъ учитель, ѣдко затягиваясь.

— „Народъ-богоносецъ“!... Скирды-то ваши?

— Нынѣшній годъ далъ Господь, — скромно, боясь сглазить, отвѣчаетъ Григорій.

— А чашки чаю жалѣютъ, — ухмыляется учитель.

— Чтò онъ, и теперь еще хорошо помнить все?



— На удивленіе прямо! Все помнитъ: чтò когда сдѣлать по дому, чтò, напимѣрь, прибрать, купить, гдѣ чтò дешевле, — все первый скажетъ. Насчетъ корму, напимѣрь, разумнѣй его человѣка нѣту...

— Да нѣтъ, я не про то, — перебиваетъ учитель. — Я, понимаешь, испытываю всегда страшную жажду заглянуть на самое дно этой столѣтней души, вызвать его — ну, хоть на изображеніе старины, что ли. И никогда-то ровно ничего не выходитъ изъ этого! Или онъ почему-то не желаетъ говорить со мной, или же надо сдѣлать дикое, но, кажется, самое вѣроятное предположеніе, что рѣшительно ничего, кромѣ самага примитивнаго, нѣтъ за этой душой!

Григорій слегка удивляется:

— Да чего жъ ему не хотѣтъ разговаривать съ вами? Обижать вы его не обижаете, скрытности этой у него нѣту, помнитъ онъ даже очень хорошо... Ну, а, конечно, этакого чего-нибудь особеннаго...

— Вотъ, вотъ, именно! — подхватываетъ учитель, поднимаясь. — Кажется, совершенно задаромъ пропало столѣтіе! Нечего вспомнить. Нечего.

Проходятъ къ Таганку задами. За дворомъ Григорія нѣсколько колодокъ пчелъ. Учитель гнется, боится ихъ, а Григорій смѣется, увѣряетъ, что пчелы чистаго человѣка не трогаютъ. Тутъ чуть тянетъ холодкомъ съ сѣвера, подъ солнцемъ пыльно и сытно пахнутъ конопляники. Противъ конопляниковъ придѣлано къ каменной стѣнѣ варка нѣчто въ родѣ шалаша, сбитаго изъ колевъ и обшитаго замашками. Это и есть лѣтнее жилище знаменитаго человѣка.

— Дѣ-ѣдъ? — окликаетъ учитель, отворяя дверку.

Никто не отзывается; въ шалашѣ пусто. Вѣрно, Таганокъ въ избѣ. И Григорій уходитъ искать



гео. А гость спѣшитъ осмотрѣть шалашъ. Все то же. И все такъ же трогательно. Чтобы не надѣдать снѣгъ своимъ присутствіемъ, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганокъ чуть не съ Великаго поста. Розвальни безъ грядокъ, покрытыя соломой, служатъ ему постелью. На соломѣ нѣтъ даже попонки. Въ изголовьѣ, вмѣсто подушки, — свернутый рваный чекмень, и по цвѣту видно, что чекмену этому полвѣка. У изголовья — столикъ изъ дощечки и кольевъ; на дощечкѣ — подобіе шкатулки, а въ ней все добро, все хозяйство Таганка: мотокъ нитокъ, варежки, тавлинка изъ бересты съ нюхательнымъ табакомъ... Боже мой, Боже мой! Драгоценнѣйшимъ даромъ, даромъ сказочнаго долголѣтія одарила судьба своего избранника! А къ чему онъ тутъ, этотъ даръ?

У шалаша лежитъ большой обрубокъ, корень дуба. На немъ дѣдъ отдыхаетъ, думаетъ, грѣется, — обрубокъ отшлифованъ полушубкомъ. Учитель садится и ждетъ. Когда же за угломъ слышатся шаркающіе шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное мѣсто. Таганокъ показывается изъ-за угла, — невысокій, съ опущенными плечами, — и подвигается неловко, вразвалку, опадая съ одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, въ большихъ лаптяхъ. Полушубокъ, почти голый съ исподу, — вытерлась овчина, — сталъ широкъ, полы его висятъ. Большая шапка надѣта глубоко, немного криво. Увидавъ гостя, Таганокъ стаскиваетъ ее обѣими руками, какъ ребенокъ, кланяется низко. Длинные волосы, уцѣлѣвшіе вокругъ его темной головы, бѣлы и легки, какъ ковыль. Легка, бѣла и косая борода его. Лицо еще темнѣе головы. Желтоватые, выцвѣтшіе, налитые слезами глаза ни-

чего не выражаютъ, кромѣ не то покорности, не то грусти.

— Здорово, дѣдушка,—говоритъ учитель, садясь на землю.—Какъ поживаешь? Надѣвай шапку-то...

Таганокъ колеблется. Онъ, одолѣвъ больше вѣка, невольно и самъ считаетъ себя особеннымъ чело-вѣкомъ. Но заслужилъ ли онъ наконецъ право быть при господахъ въ шапкѣ, этого онъ еще не знаетъ. Поколебавшись, обѣими руками надѣваетъ ее.

— Садись на обрубокъ-то, тебѣ покойнѣе будетъ...

Таганокъ, помедливъ, садится; поправляетъ полы, складываетъ на колѣняхъ черныя руки и что-то кротко думаетъ. Потомъ слабо машетъ головой.

— Энтихъ ужъ нѣту, — говоритъ онъ медленно и такъ, точно разговариваетъ не съ учителемъ, а съ кѣмъ-то другимъ.— Энтихъ ужъ нѣту, чтò покоили-то...

— Въ старину лучше было?—спрашиваетъ учитель.

— Гм! — слабо улыбается Таганокъ.— Въ два раза лучше было...

Всѣ старики играютъ, притворяются черезчуръ старыми. Таганокъ не играетъ. Онъ нечеловѣчески простъ. Учитель, какъ всегда, не спускаетъ съ него глазъ; его волнуютъ странныя мысли: подумать только, что при Таганкѣ прошелъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ вѣковъ! Сколько было за этотъ вѣкъ переворотовъ, открытій, войнъ, революцій, сколько жило, славилось и умерло великихъ людей! А онъ даже малѣйшаго понятія не имѣлъ никогда обо всемъ этомъ. Цѣлыхъ сто лѣтъ видѣлъ онъ только вотъ эти коноплянники да думалъ о кормѣ для скотины! И сидитъ онъ такъ смиренно, такъ неподвижно. Опустилъ плечи, сложилъ на худыхъ колѣняхъ черныя, спеченныя столѣтиемъ

руки, перекрестилъ искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползаютъ по нимъ, сучатъ ножками, справляютъ свою любовь. Бѣлый мотылекъ спокойно, какъ на деревѣ, замеръ на его дѣтски-худой и черной шеѣ, окаймленной воротомъ сѣрой рубахи. Шапка надвинута глубоко; изъ-подъ шапки видны концы рѣдкихъ, длинныхъ, зеленовато-бѣлыхъ бровей, устало приподнятыхъ. Нижнее вѣко лѣваго глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этотъ глазъ, полный слезою, совсѣмъ безжизненъ. Въ правомъ — слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему міру. Онъ, этотъ столѣтній человѣкъ, еще слышитъ, видитъ, разумно толкуетъ съ внуками о хозяйствѣ, помнитъ все, что нужно нынче или завтра сдѣлать по дому, знаетъ, гдѣ что лежитъ, что требуетъ поправки, присмотра... И все же весь онъ въ забытьѣ, въ мірѣ своихъ далекихъ воспоминаній. Что же это за воспоминанія? Часто охватываетъ страхъ и боль, что вотъ-вотъ разобьетъ смерть этотъ драгоценный сосудъ огромнаго прошлаго. Охватываетъ жажда поглубже заглянуть въ этотъ сосудъ, узнать все его тайны, сокровища. Но онъ пусть, пусть! Мысли, воспоминанія Таганка такъ поразительно просты, такъ несложны, что порою теряешься: человѣкъ ли передъ тобою? Онъ разумный, милый, добрый. Слѣдовало бы съ благодарностью поцѣловать его руку за то, что явилъ онъ намъ; воплотивъ въ себѣ рѣдкое благословеніе неба. Но — человѣкъ ли онъ?

Говоритъ Таганокъ очень медленно, но не путаясь; выражаетъ мысли съ трудомъ, но точно. Онъ знаетъ, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать съ гостями прежде всего о старинѣ. И самъ спѣшитъ дать поводъ къ разспросамъ.

— Тепло, — говоритъ онъ, поводя плечомъ, что пригрѣто опускающимся солнцемъ. — Кровь-то моя ужъ холодѣтъ... Студился, бывало, часто... А все отчего? Въ старину вѣдь въ извозы ходили...

Учитель начинаетъ спрашивать его. И опять, опять слышитъ только давнымъ-давно знакомое! Былъ дѣдъ два раза у хохловъ, за Воронежемъ; былъ два раза въ Москвѣ, пять разъ въ Калугѣ; и много разъ въ Бѣлевѣ...

— Что же? — спрашиваетъ учитель, домогаясь обобщеній. — Нравились тебѣ хохлы?

— Хохлы-то? — отвѣчаетъ Таганокъ. — Ничего...

И, уже покончивъ съ общимъ, переходитъ къ частному:

— Мы туда подъ Срѣтенье поѣхали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка ихъ!.. Ну, поѣхали туда порожнякомъ... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь-честью, стали барыши считать... Анъ только себя самихъ да лошадей оправдали...

— Француза помнишь? — спрашиваетъ учитель, вспоминая, сколько грозныхъ кометъ видѣлъ Таганокъ, сколько зловѣщихъ слуховъ пережилъ онъ на своемъ вѣку.

Таганокъ думаетъ. Онъ гдѣ-то далеко.

— Француза-то? — спокойно говоритъ онъ. — Это какой въ Москву приходилъ? Нѣтъ, не помню... Такъ только, находитъ иной разъ какъ зукъ какой...

— А Москва при тебѣ велика, хороша была?

— Большая... Приѣдемъ, бывало, въ нее... Поставятъ насъ на Болотѣ въ рядъ... Мы и стоимъ... Какъ хлагъ спустятъ, можетъ, значитъ, купецъ, какой купилъ что, подойдетъ, взять свой товаръ...



Ну, подойдетъ, глянетъ и отправитъ его: либо на Воробьиныя горы, либо еще куда...

И Таганокъ смолкаетъ, — можетъ-быть, подъ тихимъ наитіемъ находящихъ, какъ отдаленный звукъ, воспоминаній. А учитель нервно куритъ, хмурится: нѣтъ, ничего путнаго не выходитъ изъ его разспросовъ!

Онъ сидитъ долго, до самаго заката солнца; щиплетъ концы усовъ, собирается съ мыслями, стараясь представить себѣ невозможное, — картину одной изъ самыхъ долгихъ человѣческихъ жизней, картину цѣлаго столѣтія; онъ силится войти въ душу и тѣло этого необыкновеннаго человѣка — и никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что говорить необыкновенный человѣкъ очень обыкновенно, даже чересчуръ обыкновенно, рассказываетъ же только пустяки. „Систематически надо, систематически, — думаетъ учитель, — съ самаго начала надо начать...“ Но краткіе, трогательные и пустяковые отвѣты Таганка сбиваютъ съ толку, вызываютъ безпокойство, лишаютъ охоты разспрашивать. Нѣтъ, ужъ какая тутъ послѣдовательность! — „Рано ты началъ помнить себя?“ — „А Богъ его знаетъ, не знаю... Вѣдь мы, — слабо улыбаются дѣды, — народъ темный, въ лѣсу живемъ, пнямъ молимся... Допрежъ тутъ вездѣ лѣса были...“ — „Какіе лѣса?“ — „А всякіе. Дубъ, напимѣръ, сосна... Разбойники водились...“ — „Разбойники? Ты исторію какую-нибудь о нихъ помнишь?“ — „Нѣтъ, исторіи, слава Богу, никакой не было...“ — „Ну, а село какое было? Меньше теперешняго?“ — „Все такая же... Церковь только на старомъ кладбищѣ стояла, а не возлѣ училища... Я четырехъ поповъ пережилъ...“ Но каковы были эти



попы, похожи ли на теперешнихъ и какъ относились къ народу, — этого Таганокъ не умѣетъ разсказать... Но, можетъ-быть, онъ хорошо помнитъ господъ, князей Козельскихъ, и о нихъ разскажетъ что-нибудь путное?—Помнить-то помнить... Но узнаётъ учитель только то, что было три генерала: Семенъ Милычъ, Милъ Семенычъ и Григорій Милычъ; что господа они были хорошіе, что особенно „лихимъ“ нравомъ отличался Милъ Семенычъ...

— Тебя пороли? — спрашиваетъ учитель.

— Нѣтъ, Богъ не привелъ, — отвѣчаетъ Таганокъ. — Одновѣ только. Да еще разъ въ шею далъ мнѣ Милъ Семенычъ... На постройкѣ... Я бревно не тое ухватилъ... Вотъ продавать — продавали... Возили... Осерчалъ баринъ на насъ, на ребятъ... Ну, и отправилъ одинцать головъ... Въ энтотъ, въ Бѣлевъ-то... Ну, привезли насъ на базаръ, постановили другъ съ дружкой... Подшелъ бурмистръ селезневскій... Мы было дюже оробѣли, да не сошлось что-й-то дѣло... А за меня хорошо — полтора ста пять давали...

Солнце уже скрылось за далекимъ полемъ; гуще и свѣжѣ пахнутъ коноплянники въ вечерней тѣни; роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнѣе, глаза совсѣмъ остеклянѣли. Ему холодно, онъ кутается въ полушубокъ, оправляетъ полы, глубже надвигаетъ шапку и засовываетъ руки въ рукава. Какъ отдаленный звукъ, находятъ на него воспоминанія; и, мало заботясь о томъ, слушаютъ ли его или нѣтъ, онъ медленно говоритъ то, на что напалъ случайно:

— Покойникъ Семенъ Милычъ былъ крутъ!...

А померъ онъ, заступилъ его мѣсто Милъ Семенычъ, — стало и совсѣмъ никуда... Чтò жъ, мы вѣдь ровно какъ кошка: посади ее въ мѣшокъ, завяжи и дѣлай, чтò хочешь, и она никому зла не можетъ исдѣлать, такъ и мы... Ну, молили раньше мужики, чтобъ барину Богъ смерти далъ... А я, бывало, скажу: „Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте, — хуже будетъ...“ Такъ оно и вышло... Да...

Таганокъ отдыхаетъ; потомъ опять заводитъ медленную рѣчь:

— Да... А какъ померъ Милъ Семенычъ, привезли гробъ въ засмоленномъ рундукѣ... Скрозь рундукъ дрянъ, кровь пролила... Нехорошо померъ, безъ болѣзни, тѣло не выболѣло... Какъ, значитъ, кому назначено...

Учитель съ трудомъ дослушиваетъ этотъ тяжкій рассказъ и поднимается. „Ну, шабашъ, — думаетъ онъ. — Никогда я его больше не увижу! А жаль, жаль...“

Волнуетъ его давнишнее желаніе выпытать у Таганка, очень ли онъ хочетъ жить? Вѣдь видно, что хочетъ! Но почему же никогда не говоритъ онъ объ этомъ прямо?

— Ну, прощай, до свиданія, дѣдъ, — говоритъ учитель. — Дай Богъ тебѣ еще пожить.

Таганокъ кротко поднимаетъ брови.

— Пожить-то? — отвѣчаетъ онъ. — Да вѣдь и такъ ужъ сто съ восьмеркой...

И, помолчавъ, опускаетъ голову.

— Но вѣдь хочется, небось?

— А Богъ ее знаетъ...

— Но позволь, ты-то самъ какъ чувствуешь?

Таганокъ думаетъ.

— Да что жъ чувствовать? — говоритъ онъ. — Тутъ чувствовать нечего... Чувствуй, не чувствуй...

— Позволь: ну, а если бы тебѣ, напримѣръ, предложили пять лѣтъ прожить или годъ, — что бы ты выбралъ?

Таганокъ слабо улыбается, глядя въ землю.

— Да что жъ мнѣ ее приглашать... смерть-то... Она меня не угрызетъ. Помоложе кого угрызетъ, а меня нѣтъ... Вотъ и не идетъ...

И учитель тупо, долго глядитъ на него. Потомъ рѣшительно пожимаетъ его твердую ледяную руку и уходитъ.

Онъ уходитъ за деревню, въ поле, и долго шагаетъ въ полутьмѣ по мягкой пыльной дорогѣ. „Да, да, — думаетъ онъ, — дѣло тутъ не въ экономикѣ... Дѣло въ примитивности, въ первобытности, коей не преидеши... Дѣло, — говоритъ онъ себѣ твердо и упрямо, — въ исконныхъ чертахъ россиянина: въ атавистическихъ...“

Возвращается онъ усталый, успокоенный. Не спѣша идетъ по улицѣ. Огней нѣтъ, избы темны и тихи. Всѣ спятъ. Пахнетъ жильемъ — какъ-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкаютъ осторожные сверчки. Вотъ и опять изба Глѣба. Она вымазана известкой, слабо бѣлѣетъ. Стекла ея сини отъ вечера, въ нихъ еще слабо отражается небо. Внизу, по землѣ рѣетъ какой-то еле замѣтный отсвѣтъ, отчего изба и полушубокъ кого-то сидящаго на голышѣ возлѣ нея странно выделяются. Кто это? Неужели Таганокъ? Да, онъ, онъ...

— Дѣдушка, еще здравствуй, — негромко говоритъ учитель, очень тронутый видомъ этого одинокаго, чужого всему міру челоуѣка, пережившаго и всѣхъ сверстниковъ своихъ и всѣхъ дѣтей ихъ.

— Кто это? — тихо откликается Таганокъ.

— Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганокъ думаетъ. Отвѣчаетъ онъ теперь еще медленнѣе:

— Да какой нашъ сонъ... Древенъ я... Ночь заходитъ — жутко... Какъ медвѣдь идетъ она на меня...

„Это не ночь, а смерть“, — думаетъ учитель; и, помолчавъ, спрашиваетъ:

— Ну, а какъ же? Пожилъ бы еще? Пять годовъ или годъ?

Тихо. Трюкаютъ сверчки. На порогъ избы вышла дымчатая кошка, сбѣжала на землю — и стала невидима. Слабо бѣлѣетъ борода Таганка. Темнаго, гробового лица его не видно. Онъ неподвиженъ. Не слышно даже дыханія его. Живъ ли онъ?

Живъ. Долго спустя онъ отзывается:

— Пожилъ бы... И пять бы годовъ одолѣлъ бы... Да черезъ пять-то годовъ...

Онъ, видно, вспоминаетъ сноху, свой шалапъ, свою безпризорность, беспомощность.

И легонько вздыхаетъ:

— Черезъ пять-то годовъ вошь съѣстъ. Въ ней главная причина. А то пожилъ бы.





# НОЧНОЙ РАЗГОВОРЪ



## I

Небо всю ночь было серебристо-звѣздно, поле за садомъ и гумномъ темнѣло ровно, и на чистомъ горизонтѣ четко чернѣла мельница съ двумя рогами крыльевъ. Но звѣзды искрились, трепетали, часто прорѣзывали небо зеленоватыми полосками, садъ шумѣлъ порывисто и уже по-осеннему, холодно. Отъ мельницы, съ пологой равнины, съ опустѣвшаго жнивья дулъ сильный вѣтеръ.

Работники сытно поужинали, — былъ праздникъ, Успенье, — и жадно накурились по дорогѣ черезъ садъ на гумно. Накинувъ сверхъ полушубковъ армяки, они шли туда спать, стережъ хлѣбные вороха. За работниками, таща подушку, шелъ высокій гимназистъ, хозяйскій сынъ, и бѣжали три борзыхъ бѣлыхъ собаки. На гумнѣ, на свѣжемъ вѣтру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Всѣ уютно улеглись въ ней, въ самомъ большемъ ометѣ, поближе къ ворохамъ и ригѣ. Собаки повозились, пошуршали у ногъ работниковъ и тоже успокоились.

Надъ головами лежавшихъ слабо бѣлѣлъ широкий, раздваивающійся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей въ немъ мелкой звѣздной розсыпью. Въ соломѣ было тепло и тихо.

Но по лозняку, что темнѣлъ вдоль вала слѣва, то и дѣло тревожно шелъ и, разрастаясь, приближался глухимъ непріязненнымъ шумомъ сѣверовосточный вѣтеръ. Тогда до лицъ, до рукъ доходило прохладное дуновеніе вмѣстѣ съ дурнымъ запахомъ изъ проходовъ между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцвѣтными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позѣвали и закрыли глаза. Вѣтеръ дремотно шелестѣлъ торчавшей надъ головами колючей соломой. Но дошла до лицъ прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется, — выпались послѣ обѣда. Только одинъ гимназистъ изнемогалъ отъ сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Онъ сталъ чесаться, раздумался о дѣвкахъ, о вдовѣ, съ которой онъ, при помощи работника Пашки, потерялъ въ это лѣто невинность, и тоже разгулялся.

Это былъ худой, неуклюжій подростокъ съ необыкновенно нѣжнымъ цвѣтомъ лица, такого бѣлаго, что даже загаръ не бралъ его, съ синими глазами, съ безобразно большими руками и ногами, съ большимъ кадыкомъ. Онъ все лѣто не разлучался съ работниками, — возилъ сперва навозъ, потомъ снопы, оправлялъ ометы, курилъ махорку, подражалъ мужикамъ въ говорѣ и въ грубости съ дѣвками, которыя дружески поднимали его на смѣхъ, встрѣчали свистомъ и криками: „Веретѣнкинъ, Веретѣнкинъ!“ — дурацкимъ прозвищемъ, придуманнымъ подавальщикомъ въ молотилку Иваномъ. Онъ ночевалъ то на гумнѣ, то въ конюшнѣ, по недѣлямъ не мѣнялъ бѣлья и парусиновой одежды, не снималъ дегтярныхъ сапогъ, сбилъ въ кровь

ноги съ непривычки къ портянкамъ, оборвалъ всѣ пуговицы на лѣтней шинели, испачканной колесами и навозомъ, сломалъ серебряные листочки и буквы на картузѣ.

— Совсѣмъ отбился отъ дому! — съ ласковой грустью говорила о немъ мать, восхищаясь даже его недостатками. — Конечно, поправится, окрѣпнетъ, но посмотрите, какая лохматая чупка, даже шеи не моетъ! — улыбаясь, говорила она гостямъ и теребила его мягкія каштановыя лохмы, стараясь добратъся до нѣжнаго завитка, кудрявившагося, какъ у дѣвочки, на его затылкѣ, на темной шеѣ, отдѣлявшейся отъ виднаго подъ косовороткой подѣтски бѣлаго тѣла, отъ большихъ позвонковъ подъ тонкой гладкой кожей. А онъ угрюмо вывертывалъ голову изъ-подъ ея ласковой руки, хмурился и краснѣлъ. Онъ росъ не по днямъ, а по часамъ и на ходу гнулся, задумчиво свисталъ, угловато вилялъ изъ стороны въ сторону. Онъ еще ѣлъ липовый цвѣтъ, вишневый клей, хотя, уже тайкомъ, носилъ въ карманѣ парусиновыхъ панталонъ рогульку для стрѣльбы по воробьямъ, но сгорѣлъ бы отъ стыда, если бъ это обнаружилось, и не выпускалъ рукъ изъ кармановъ. Еще зимой онъ игралъ съ сестрой, маленькой Лилей, въ краснокожихъ. Но весной, когда по всѣмъ улицамъ города текли и дрожали ослѣпительнымъ блескомъ ручьи, когда въ классахъ горѣли отъ солнца бѣлые подоконники, солнцемъ былъ пронизанъ голубой дымъ въ учительской, и директорская кошка подстерегала первыхъ яблоковъ въ гимназическомъ саду, еще полнымъ серебрянаго снѣга, — весной онъ вообразилъ, что влюбился въ худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился съ



шестиклассникомъ въ очкахъ Симапко и рѣшилъ посвятить всѣ каникулы самообразованію. А лѣтомъ мечты о самообразованіи были уже забыты, было принято новое рѣшеніе — изучить народъ, вскорѣ перешедшее въ страстное увлеченіе мужиками.

Вечеромъ на Успенье гимназистъ былъ налить сномъ еще за ужиномъ. Къ концу каждаго дня, когда туманилась и на грудь падала голова, — отъ усталости, отъ разговоровъ съ работниками, отъ роли взрослого, — возвращалось дѣтство: хотѣлось поиграть съ Лилей, помечтать передъ сномъ о какихъ-нибудь дальнихъ и невѣдомыхъ странахъ, о необыкновенныхъ проявленіяхъ страсти и самопожертвованія, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиковъ Наумова и Нефедова, прочитать которыхъ дано было Симапкѣ честное слово; хотѣлось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней зарѣ, когда даже собаки такъ томно зѣваютъ и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криковъ матери, гимназистъ накинулъ на плечи шинель съ мотающимся хлястикомъ и картузь на голову, схватилъ изъ рукъ горничной подушку и въ аллеѣ нагналъ работниковъ. Онъ шелъ, шатаясь отъ дремоты, таща за уголъ подушку, и, какъ только довалился до омета, подлѣзъ подъ старую ентовую шубу, лежавшую тамъ, такъ сейчасъ же и поплылъ, понесся куда-то въ сладкую черную тьму. Но огнемъ стали жечь мелкія собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Ихъ было пятеро: добрый лохматый старикъ Хомутъ, Кирюшка, хромоу, бѣлоглазый, безотвѣтный малый, предававшійся мальчишескому пороку,

о чемъ всё знали и что заставляло Кирюшку быть еще безотвѣтнѣе, молча сносить всяческія насмѣшки надъ его короткой, согнутой въ колѣнѣ ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлѣтній мужикъ, недавно женившійся, Федотъ, мужикъ пожилой, дальній, откуда-то изъ-подъ Лебедяни, прозванный Постнымъ, и очень глупый, но считавшій себя изумительно умнымъ, хитрымъ и безпощадно-насмѣшливымъ человѣкомъ, Иванъ. Этотъ презиралъ всякую работу, кромѣ работъ на земледѣльческихъ машинахъ, носилъ синюю блузу и всёмъ внушилъ, что онъ прирожденный машинистъ, хотя всё знали, что онъ ни бельмеса не смыслить въ устройствѣ даже простой вѣялки. Этотъ все суживалъ свои сумрачно ироническіе глазки и стягивалъ тонкія губы, не выпуская трубки изъ зубовъ, значительно молчалъ, когда же говорилъ, то только затѣмъ, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замѣчаніемъ или прозвищемъ: онъ рѣшительно надо всёмъ глумился — надъ умомъ и глупостью, надъ простотой и лукавствомъ, надъ уныніемъ и смѣхомъ, надъ Богомъ и собственной матерью, надъ господами и надъ мужиками; онъ давалъ прозвища нелѣпыя и непонятныя, но произносилъ ихъ съ такимъ загадочнымъ видомъ, что всёмъ казалось, будто есть въ нихъ и смыслъ и ѣдкая мѣткость. Онъ и себя не щадилъ, и себя прозвалъ: „Рогожкинъ“, — сказалъ онъ однажды про себя, такъ вѣско, такъ зло на что-то намекая, что всё покатались со смѣху, а потомъ уже и не звали его иначе, какъ Рогожкинъ. Окрестилъ онъ и гимназиста, сказалъ чепуху и про него: Веретѣнкинъ.

Всѣхъ этихъ людей гимназистъ, какъ онъ думалъ, хорошо узналъ за лѣто, ко всёмъ по-раз-

ному привязался, — даже и къ Ивану, издѣвавшемуся надъ нимъ, — у всѣхъ тому или другому учился, воспринимая ихъ говоръ, совершенно, какъ оказалось, не похожій на говоръ мужиковъ книжныхъ, ихъ неожиданныя, нелѣпыя, но твердыя умозаключенія, однообразіе ихъ готовой мудрости, ихъ грубость и добродушіе, ихъ работоспособность и нелюбовь къ работѣ. И, уѣхавши послѣ каникулъ въ городъ и на другое лѣто уже не вернувшись къ увлеченію мужицкой жизнью, онъ весь свой вѣкъ думалъ бы, что отлично изучилъ русскій народъ, — если бы случайно не завязался между работниками въ эту ночь длинный откровенный разговоръ.

Началъ старикъ, лежавшій рядомъ съ гимназистомъ и чесавшійся крѣпче всѣхъ.

— Ай, барукъ, донимають? — спросилъ онъ. — Чистая бѣда эти блохи, хомутъ! — сказалъ онъ, употребляя слово, которымъ постоянно опредѣлялъ и всю жизнь свою, и всю тяготу ея, всѣ непріятности.

— Мочи нѣтъ, — отозвался гимназистъ. — Вотъ бабъ, дѣвокъ, тѣхъ, провалиться имъ, не трогаютъ. А ужъ кого бы, кажись, жилъ, какъ не ихъ.

— Главная вещь, портокъ на нихъ не полагается, — равнодушно подтвердилъ старикъ, ворочаясь и издавая крѣпкій запахъ давно не мытаго тѣла и вытертаго зипуна, прокопченаго курной избой.

Прочіе молчали. Обычно шутили передъ сномъ, разспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а онъ отвѣчалъ съ такимъ спокойнымъ и веселымъ безстыдствомъ, что даже гимназистъ, постоянно восхищавшійся имъ, не сводившій глазъ съ его умнаго и живого лица, досадовалъ — какъ это

можно говорить такъ о своей молодой женѣ. Теперь никто не начиналъ разспросовъ, и гимназистъ уже хотѣлъ-было самъ начать ихъ, чтобы еще болѣе взволновать свое воображеніе, навѣки отравленное вдовой, и послушать увѣренный голосъ Пашки, какъ Пашка потянулся, сѣлъ и сталъ завертывать цыгарку. Старикъ поднялъ голову въ шапкѣ и покачалъ ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказалъ онъ.  
— Смотри. До грѣха недолго.

— А я на барчука солгусь, — отвѣчалъ Пашка, немного хрипя отъ простуды, и, откашлявшись, засмѣялся. — Онъ самъ постоянно курить. Чудная ночь, барчукъ, сегодня, — сказалъ онъ, мѣняя тонъ на серьезный и оборачиваясь къ гимназисту. — Къ этой ночи что недостаетъ? Луну.

Чувствовалось, что онъ хочетъ разсказать что-то. И, правда, помолчавъ и не получивъ отвѣта, онъ вдругъ спросилъ:

— Барчукъ, вы спите? Который теперь часъ будетъ?

Гимназистъ поднялся, вытащилъ изъ кармана панталонъ серебряные часы и при свѣтѣ звѣздъ сталъ разглядывать ихъ.

— Половина одиннадцатаго, — сказалъ онъ, горбясь.

— Ну вотъ, такъ я и зналъ, — весело и увѣренно подтвердилъ Пашка, затиснувъ на-бокъ зубами крючокъ и закуривая отъ вонючаго сѣрника, загорѣвшагося въ его сложенныхъ ковшикомъ рукахъ. — Въ акуратъ въ это самое время я человѣка прошлый годъ убилъ.

И гимназистъ сразу разогнулся, опустилъ руки — и точно окаменѣлъ на все время разговора. Онъ



изрѣдка подавалъ голосъ, но такъ, точно другой кто говорилъ за него. Потомъ все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый нелѣпый смѣхъ, и огнемъ стало горѣть лицо.

## II

Иванъ, какъ всегда, значительно молчалъ. Ки-рюшка совсѣмъ не интересовался тѣмъ, что говорили, лежалъ и думалъ свое — о гармоніи, купить которую было его самой завѣтной мечтой. Долго молчалъ, лежа на локтѣ, и Федотъ, сильный, плоскій мужикъ, въ началѣ лѣта казавшійся работникомъ чужимъ человѣкомъ по той причинѣ, что носилъ онъ полущубокъ безъ талии, безъ сборокъ, въ родѣ тѣхъ, что носятъ казанскіе татары. Чужимъ казался онъ и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствіе, ладность ухватокъ, загорѣлое лицо Пашки, настолько же не располагало его къ близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-сѣрое, морщинистое, съ жидкими и всегда мокрыми отъ слюней, отъ трубки усами, съ крупными отворотами бѣлесыхъ обвѣтренныхъ губъ. Федотъ слушалъ внимательно, но не вставлялъ въ разговоръ Пашки ни слова — только чахоточно покашливалъ и поплевывалъ въ солому. И сперва поддерживали разговоръ только пораженный гимназистъ да старикъ.

— Чтò брешешь пустое, — равнодушно сказалъ старикъ, услыхавъ хвастливое заявленіе Пашки. — Какого такого человѣка могъ ты убить? Гдѣ?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь къ старику. — Прошлый годъ



убилъ, на Успенье. Объ этомъ не только что, объ этомъ во всѣхъ газетахъ писали, въ приказѣ по полку и то было.

— Да гдѣ убилъ-то?

— Да на Кавказѣ, въ Зухденахъ. Ей-Богу! Конечно, брехать не стану, не я одинъ убилъ, и Козловъ стрѣлялъ, — нашъ же, елецкій, — эта благодарность не одному мнѣ была, дивизіи начальникъ, конечно, и ему спасибо сказалъ при всемъ фронтѣ и прямо же намъ по рублю наградилъ, но только я подлинно знаю, что это я его сръзалъ.

— Кого его? — спросилъ гимназистъ.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой, — перебилъ старикъ: — ты толкомъ разскажи. Гдѣ вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказалъ Пашка. — Вотъ чудакъ, не вѣритъ ничему. Стояли мы въ этихъ, въ Новыхъ Сениякахъ...

— Знаю, — сказалъ старикъ. — И мы тамъ стояли восемнадцать дёнъ.

— Ну, вотъ видишь, — значитъ, я не пустое брешу и могу тебѣ все это приблизительно разсказать. Мы тамъ, братъ, не восемнадцать денъ, а цѣлый годъ семь мѣсяцевъ стояли, а арестантовъ этихъ обязаны были до самыхъ до Зухденъ препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные проступники, бунтовщики, и, значитъ, всѣхъ ихъ, десять человекъ, въ горахъ поймали и къ намъ предоставили...

— Стой, — перебилъ гимназистъ, подражая старику и чувствуя, что у него ледянятъ руки: — а какъ же ты мнѣ говорилъ, что не сталъ бы бунтовщиковъ стрѣлять, а скорѣе офицера, какой будетъ приказывать стрѣлять, застрѣлишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо, — отвѣтилъ Пашка, мелькомъ взглянувъ на гимназиста и опять оборачиваясь къ старику. — Я, можетъ, и пальцемъ бы его не тронулъ, кабы онъ не задумалъ погубить насъ, а онъ на хитрости пошелъ и могли мы за него цѣльный годъ въ арестанскихъ ротахъ пробыть, а тутъ не только что, — благодарность получили, немножко поумнѣй его оказались. Ты вотъ послушай, — сказалъ онъ, дѣлая видъ, что говоритъ только со старикомъ. — Мы ихъ честно-благородно вели. Озорства этого ничего съ ними не дѣлали, бить тамъ, напимъ, али прикладомъ подгонять... А одинъ, худой этакій, малорослый, все идетъ и на животъ жалится, дѣ вътру все просится. Еле кандалами брянчить. Наконецъ того, подходитъ къ старшому: „Дозвольте на телѣгу лечь“. Ну, ему и позволили, какъ путному. Только приходимъ въ Зухдены. А ночь — хоть глазъ выколи и дождь холить. Посадили мы ихъ на крыльцо, стережемъ, у кажнаго, конечно, по фонарику въ рукѣ, а старшой въ камеру отлучился, рѣшетки въ окнахъ пощупать: извѣстно, затѣмъ, что цѣли ли, молъ, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно, — сказалъ старикъ. — Онъ долженъ по закону все въ исправности принять.

— Про то и толкъ, — подтвердилъ Пашка, опять торопливо пряча зажженный сѣрникъ въ руки, сложенные ковшикомъ. — Вотъ ты это дѣло знаешь, тебѣ и рассказывать интересно. Ну, пошелъ старшой, — продолжалъ онъ, давая спичку и пуская въ ноздри дымъ: — пошелъ, осматриваетъ, а мы стоимъ, клюемъ рыбу, — спать мочи нѣтъ какъ хочется, — а грузинтъ этотъ какъ вскочить вдругъ

да за-уголь! Онъ, понимаешь, значить, еще въ телѣгѣ все это дѣло какъ слѣдуетъ обдумалъ, разрѣзалъ чѣмъ ни на есть ремень кандалный округъ пояса, спустилъ кандалы съ себя, подхватилъ вотъ такъ-то рукой, — Пашка нагнулся и, разставляя ноги, показалъ, какъ подхватилъ арестантъ кандалы, — да и дѣру! А мы съ Козловымъ, не будь дураки, фонари покидали и — за нимъ: Козловъ тоже за-уголь, а я прямо наперерѣзъ. Бѣгу, а самъ все норовлю поймать, гдѣ звукъ, гдѣ, то-есть, кандалы его звенятъ, — дуромъ-то, думаю, и стрѣлять нечего, — наслышалъ, наконецъ того, — разъ! Чую — мимо. Я въ другой — опять, слышу, мимо. А Козловъ лупитъ по чемъ ни попало, того гляди меня срѣжетъ... Взяло меня зло: ахъ, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарилъ: слава тебѣ, Господи, сорвался, слышу, звукъ, видно, упалъ. Выпустилъ еще два патрона въ это мѣсто, бѣгу, а онъ и вотъ онъ: на земли на задѣ сидитъ. Сѣлъ, руками уперся въ грязь, зубы оскалилъ и хрипитъ: „Скорѣй, говоритъ, скорѣй, русъ, вдарь меня въ это мѣсто штыкомъ“ ... въ грудь, то-есть. Я навѣсилъ съ разбѣгу ружье — разъ ему въ самую душу... ажъ въ спину выскочило!

— Ловко! — сказалъ старикъ. — Дай-ка затянуться разокъ... Ну, а Козловъ-то гдѣ-жъ?

Пашка быстро, крѣпко затянулся и сунулъ старику окурокъ.

— А Козловъ, — отвѣтилъ онъ поспѣшно и весело, польщенный похвалой: — а Козловъ бѣжитъ и не судомъ кричитъ: „ай угомонилъ?“ — Угомонилъ, говорю, давай тушку тащить... Взяли его сейчасъ за кандалы и поволокли назадъ, къ крыльцу... Я его какъ жожку срѣзалъ, — сказалъ

онъ, мѣняя тонъ на болѣе спокойный и самодовольный.

Старикъ подумалъ.

— И по рублю, говоришь, наградилъ васъ?

— Вѣрное слово, — отвѣтилъ Пашка, — прямо изъ своихъ рукъ далъ, при всемъ полномъ фронтѣ.

Старикъ, покачивая шапкой, плюнулъ въ ладонь и потушилъ въ слюнѣ окурокъ.

Иванъ, не спѣша, сказалъ сквозь зубы:

— А дураковъ, видно, и въ солдатахъ много.

— Это какъ же такъ? — спросилъ Пашка.

— А такъ, — сказалъ Иванъ. — Ключъ Матвѣй! Ты что долженъ былъ дѣлать? Ты долженъ былъ не волочь его, а послать съ рапортомъ товарища, а самъ съ ружьемъ стать при мертвомъ тѣлу. Теперь расчухалъ, ай нѣтъ?

### III

Федотъ заговорилъ, когда всѣ помолчали и побормотали: „да-а... ловко...“ — еще проще.

— А вотъ я, — началъ онъ медлительно, лежа на локтѣ и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую передъ нимъ на звѣздномъ небѣ фигуру гимназиста: — а вотъ я совсѣмъ задаромъ согрѣшилъ. Я человѣка убилъ, прямо надо сказать, изъ-за ничтожности: изъ-за козѣ своей.

— Какъ изъ-за козѣ? — въ одинъ голосъ перебили старикъ, Пашка и гимназистъ.

— Ей-Богу, правда, — отвѣтилъ Федотъ. — Да вы вотъ послушайте, что за ядъ была эта коза...

Старикъ и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготовляясь слушать. Хотѣлъ закурить и гимназистъ, но не двигались, не вынима-



лись изъ кармановъ ледяныя руки. А Оедотъ серьезно и спокойно продолжалъ:

— Изъ-за ней вся и дѣло вышла. Убилъ-то, конечно, не нарокомъ... Онъ же меня первый избилъ... А потомъ пошла сваря, судъ... Онъ пьяный пришелъ, а я выскочилъ сгоряча, вдарилъ брускомъ... Да объ этомъ что говорить, я и такъ въ монастырѣ за него полгода отдежурилъ, а кабы не было этой козѣ, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у насъ не водилось этихъ козъ, не мужицкое это дѣло, и обращенья съ ними мы не можемъ понимать, а тутъ еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи Господи. Что борзая сучка, то она. Можетъ, я и не захотѣлъ бы ее приобрѣтать,—и такъ всѣ смѣялись, отговаривали, — да прямо нужда заставила. Угодій у насъ нѣту, простору и лѣсовъ никакихъ... Прогону своего у насъ споконъ вѣку не было, а какая мелочная скотина, такъ она просто по парамъ питается. Крупную скотину, коровъ мы на барскій дворъ отдавали, а полагалось съ нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцію двѣ десятины скосить-связать, двѣ десятины пару вспахать, три дни съ бабой на покосѣ отбыть, три дни на молотбѣ... Сосчитать, сколько это будетъ? — сказалъ Оедотъ, поворачивая голову къ старику.

Старикъ сочувственно подтвердилъ:

— Избавь Господи!

— А козу купить, — продолжалъ Оедотъ, — ну, отъ силы семь, али, скажемъ, восемь цѣлковыхъ отдать, а въ напоръ она дастъ бутылки четыре, не менѣ, и молоко отъ ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, отъ ней та, что съ овцами ее нельзя держать — бьетъ ихъ дюже, когда котна, а



зачнетъ, починать, злѣй собаки исдѣлается, зрить ихъ не можетъ. И такая цопкая скотина — это ей нѣ избу залѣзть, на ракирку, — ничего не стѣить. Есть ракирка, такъ она ее безпремѣнно обдеретъ, всю шкурку съ ней спуститъ — это самая ея удовольствіе!

— Ты же хотѣлъ разсказать, какъ человѣка убить, — съ трудомъ выговорилъ гимназистъ, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное въ звѣздномъ свѣтѣ, не вѣря, что этотъ самый Пашка — убійца, и представляя себѣ маленькаго мертваго грузина, котораго волокутъ за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про чтѣ жъ? — отвѣтилъ Ѳедотъ грубовато и заговорилъ немного живѣе. — Ты не можешь этого дѣла понимать, ты своимъ домомъ жить-то еще не пробовалъ, а за мамашей жить — это всякій проживетъ. Я про то и говорю, что этакій грѣхъ прямо изъ-за пустого вышелъ. Я изъ-за ней трехъ овецъ зарѣзалъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ старику. — Девять съ половиной за овецъ взялъ, а за нее восемь заплатилъ. Не дешево тоже обошлась... И опять же съ бабой пошли каждый день скачдалы. Взялъ, говорю, пустое, восемь за козу отдалъ, ну, тамъ кой-чего для хозяйства купилъ, кой-какую вещь, ребятамъ свистулекъ набралъ, пошелъ домой, перъ, перъ, пришелъ къ утру — глядь, полтинника нѣту: сунулъ, значить, въ карманъ и посялъ. Стала баба деньги считать — „гдѣ жъ, говоритъ, полтинникъ? проглотилъ? Говорила тебѣ, дураку, тушками продать, а овчины себѣ оставить...“ Слово за слово... Такой скандалъ пошелъ, не приведи Господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — дѣловито вставилъ Пашка. — Ихъ не бить, добра не видать.

— Понятная дѣло, — сказалъ Ѳедотъ. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсѣмъ повеселѣла: хороша, правда, на удой оказалась и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали въ стадо. Далъ я пастушатамъ на табакъ, поднесъ по чашкѣ водки... а то они, сукины дѣти, брухаться приучаютъ... Только ворочается вечеромъ стадо — смотрю, нѣту моей козѣ. Я къ пастуху: почему нашей козѣ нѣту? А потому, говоритъ, пригнали мы стадо на лѣсной паръ, зачала твоя коза съ коровами играть, схватилась съ быкомъ: отойдетъ отъ него, разлетится, разлетится — разъ его къ кичку! До того его изняла, сталъ за коровъ отъ ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шаркъ въ овесъ... Мы прямо изъ силъ выбились! А потомъ ушла, бѣгалъ за ней подпасокъ, весь лѣсъ выбѣгалъ, нигдѣ не нашелъ, — какъ скрозь земь провалилась...

— Ну, правда что, — ядъ коза! — замѣтилъ старикъ.

— А-а! — злорадно сказалъ Ѳедотъ. — Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будетъ! Какъ пропала эта самая коза, мы съ бабой прямо очумѣли. Ну, думаемъ, каюкъ, вотъ тебѣ и денежки наши, попадется она волку на-зубы. А того, понятно, и въ головѣ не держимъ, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись на-ранѣ въ лѣсъ, кажись, живого мѣста не оставили, все до шпенту обѣлели — нѣту нигдѣ, да и только! Затужилъ я Бо-зна какъ, однако вду пахать, — какъ разъ пахота подошла. Взялъ съ собой хлѣбушка въ платочкѣ, положилъ подъ мѣжу,

пашу, а на другомъ бугрѣ малый нашъ деревенскій пашетъ — вдругъ, слышу, кричитъ что-й-то, показываетъ рукой. Оглянулся я — да такъ и ахнулъ: коза! Вытащила узелокъ, схватила въ зубы, растрясла и стоитъ, дергаетъ бородой, хлѣбъ лопаетъ... Кинулъ я поскорѣй соху — къ ей. Я къ ей, а она отъ мене. Я къ ей, она отъ мене: отбѣжитъ, остановится, жуетъ хлѣбъ — и горюшка мало. И вѣдь такая веселая да умная стерва — за всѣмъ моимъ движеніемъ слѣдитъ. А меня сердце на нее беретъ, очень хочется поймать, такъ бы, кажись, и расшибъ ее! Сожрала хлѣбъ и пошла: обертывается, поглядываетъ, хвостомъ трясетъ, — ну, прямо насмѣшничаетъ!

— Чтò и говорить, скотина безпечная! — сказалъ старикъ.

— Про чтò жъ я-то говорю! — воскликнулъ Оедотъ, поощренный сочувствіемъ. — Я про то и говорю, что она прямо сокрушила насъ! Тутъ и недѣли не прошло, стали всѣ на меня обижаться, такъ, говорятъ, и живетъ коза твоя въ мужицкихъ хлѣбахъ, у меня у самого весь осьминникъ истолкла, всѣ кисти съ овса оборвала. Разъ какъ-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю, несется моя бѣлая коза, чтò есть духу, прямо къ намъ, оретъ не своимъ голосомъ — и прямо въ сѣнцы. Я со всѣхъ ногъ за ей, зажалъ ее въ уголъ, затянулъ черезъ рога подпояской, зачалъ ее утюжить... громъ гремитъ, молонья жжетъ, а я ее деру, я ее деру! Должно, болѣ часу дралъ, вѣрное слово. Посадила потомъ на варкѣ, привязалъ на подпояскѣ... да тотъ-то ее знаетъ, либо подпояска попалась гнилая, либо еще чтò, только глянули мы на-ранѣ — опять нѣту козъ!

Такъ, вѣришь ли, ажъ слева меня со зла прошибла!

#### IV

Тонъ Оедота сталъ такъ простъ, сердеченъ, такъ полонъ хозяйственнаго огорченія, что никому бы и въ голову не пришло, что это рассказываетъ о своемъ грѣхѣ убійца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежалъ внизъ животомъ, съ головой покрытый армякомъ, выставивъ изъ-подъ него толсто опутанныя бѣлыми онучами, въ большихъ лаптяхъ ноги. Иванъ, надвинувъ на лобъ шапку, запустивъ руки въ рукава, лежалъ на боку и тоже не двигался, молчалъ же строго и серьезно потому, что считалъ ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему такъ было мало дѣла, убійцы передъ нимъ или нѣтъ, что онъ даже крикнулъ разъ:

— Спать пора! Завтра домелѣте!

А Пашка и старикъ, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмѣхались: ну, правда, и зазналъ горя Оедотъ съ козой! И Оедотъ, видимо, считая себя уже оправданнымъ этимъ сочувствіемъ къ его смѣшному и горькому положенію, совсѣмъ пересталъ стѣсняться отступленіями. И гимназистъ, стиснувъ зубы и отъ вѣтра и отъ внутренняго холода, порою дико, съ изумленіемъ оглядывался: гдѣ онъ и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, какихъ было много: темнѣло поле, чернымъ треугольникомъ вырѣзывалась въ звѣздномъ небѣ рига, дулъ вѣтеръ по лозняку, за которымъ вспыхивали и пропадали звѣзды, доходило до лицъ и рукъ прохладное дуновеніе съ запахомъ мякины, шуршало въ соломѣ и опять сти-



хало... Глубокимъ сномъ спали, утонувъ въ соломѣ бѣлыми клубками, собаки... И страшное было только въ томъ, что было уже поздно, что высоко поднялась съ сѣверо-востока кучка серебряныхъ звѣздъ, что глухо, по-осеннему шумить вдали темная масса дремотнаго сада, что блестятъ въ звѣздномъ свѣтѣ глаза на лицахъ разговаривающихъ...

— Да, братецъ ты мой, — говорилъ Ѳедотъ, смѣясь надъ своимъ нелѣпымъ и печальнымъ положеніемъ: — какъ же не бѣда-то! Сказываютъ мнѣ наконецъ того, — загналъ мою козу мужикъ на Прилѣпахъ. Иду добывать, дѣлать нечего, такой ужъ, видно, жербій мой. Прихожу на деревню, идѣ ни гляну, — никого нѣту, всѣ на работѣ. Ёдетъ мальчикъ за водой, спрашиваю: гдѣ домъ Бочкова? „А вонъ, говоритъ, гдѣ старуха въ красной паневѣ подъ лозинкой сидитъ“. Подхожу: „это Бочковъ дворъ?“ Махаеъ мнѣ старуха рукой, на варокъ показываетъ...

— Ошалѣла, значитъ, отъ старости, — вставилъ Пашка, такъ хорошо засмѣявшись, что гимназистъ съ изумленіемъ и страхомъ оглянулся на него и подумалъ: „да нѣтъ, не можетъ быть — это онъ все навралъ на себя!“

— Ошалѣла, — подтвердилъ Ѳедотъ. — Только рукой махаеъ. А я ужъ давно слышу, свинья на варкѣ юзжитъ. Отворяю дверь въ клѣтушку, плетеную заутку, гдѣ эта самая свинья сохраняется. Вижу, возитъ бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держитъ одной рукой, другой изъ ведра на нее поливаетъ. А свинья вся черная отъ грязи, возитъ ее, таскаеъ, никакъ баба съ ней не сладитъ, заголилась до самаго живота. И смѣхъ и грѣхъ! Увидала меня, обдернула подолъ, ноги,



руки, вся лицо въ навозѣ... „Что тебѣ нужно?“ — „Что нужно? По дѣлу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скоть, а объявленіе не дѣлаете“. — „Никакой, говоритъ, твоей козѣ мы не держимъ. Мы ее выпустили. Ее на барскомъ дворѣ загнали“. И смѣется чего-й-то. Та-акъ, думаю, значить, опять моя дѣло табакъ. Ну, погоди жъ ты! Вышелъ, пошелъ. Только зашелъ за сосѣдній дворъ, повернулъ на стезжку по конопямъ, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжій навстрѣчу. „Ты за козой приходилъ?“ — „За козой. А что?“ Вдругъ слышу, кричитъ баба за избой: „Кузька, куда тебя закружило, глаза твои накройся?“ — „Скорѣй, говорю, бѣги, вонъ мать съ крипивою идетъ“. А она и вотъ она — увидала его, бѣжить: „Не табѣ сказала за малымъ смотрѣть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?“ Потомъ какъ вскинется на меня! — „Ты чей?“ — „А тебѣ, молъ, что за дѣло?“ — „Да нѣтъ, ты скажи, ты чей?“ — „Старой трандѣ казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу“. — „А, такъ это ты, глаза твои накройся, съ своей козой спокою всему селу не даешь!..“ И вижу вдругъ — несется ко мнѣ высокій мужикъ отъ рыги — безъ шапки, распояской, въ сапогахъ. Набѣжалъ со всѣхъ ногъ: „Твоя коза?“ — „Моя“... Развернулся — какъ ахнетъ мнѣ въ ухо!

— Чисто! — въ одинъ голосъ воскликнули старикъ и Пашка, а гимназистъ даже взвизгнулъ: вотъ оно, самое страшное-то! Но Федотъ спокойно вытянулъ изъ-подъ себя полу полущубка и спокойно продолжалъ:

— Да, такъ огрѣлъ, ажъ въ головѣ у меня зажундѣло. Я сгрѣбъ его за руки, спрашиваю: за что? А тутъ ужъ народъ бѣжить... Я при всѣхъ

прошу просвидѣтельствовать это дѣло, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка съ ногъ долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, — подавай въ судъ, тамъ и съ меня спросятъ, и тебя не помилуютъ. Теперь-то, молъ, елдакъ ты съ меня возьмешь! Шапку надѣлъ и пошелъ поскорѣй на барскій дворъ. Повеселѣлъ маленько: коза теперь, думаю, не уйдетъ, а взыскивать съ меня ты теперь не можешь, — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, ѣдетъ на лошаdkѣ съ подрубленнымъ хвостикомъ мальчикъ въ атласномъ картузикѣ, съ голыми руками-ногами, жокей называется. Лошадь подыгрываетъ, а онъ ее хлыстикомъ жилаетъ. „Здравія желаемъ, молъ, дозвольте спросить: у вашей милости моя коза?“ — „А вы кто такой?“ — „Хозяинъ этой козѣ“. — „Ну, такъ ее мой папаша велѣлъ загнать“. Расчудесное дѣло, иду дальше, встрѣлъ нищаго, сдѣлалъ у него запасъ хлѣбушка, а то кобели на барскомъ дворѣ здоровы, взошелъ на барскій дворъ, стоитъ, вижу, возлѣ дома, на песочномъ то у, карета четверикомъ, — лошади жирныя, рьяныя. На крыльцѣ лакей съ двумя бородами. Выходитъ барышня взрослая, въ шляпкѣ съ лентами, вся лицо въ кисеѣ. „Даша, — кричитъ въ домъ горничной: — скажите барину, чтобы шелъ скорѣй. Онъ въ манежѣ“... Я къ манежу. Вижу, стоитъ самъ баринъ въ мундирѣ съ зеленымъ воротомъ, на шеѣ орденъ, картузь въ рукѣ держитъ, лысина такъ и отливаетъ на солнцѣ, животъ весь въ сборкахъ, самъ красный весь. А мальчишка на крышѣ сидитъ, запустилъ руку подъ пелену, ищетъ что-й-то. Должно, шкворцовъ, думаю себѣ. Анъ нѣтъ, — воробьями занялся. Онъ

глядитъ, кричитъ: „лови, лови ихъ, сукиныхъ дѣтей“, а мальчишка ловитъ воробьятъ голыхъ, вытаскиваетъ и обѣ земь бьетъ. Увидалъ меня: „ты что?“ — „Да вотъ, говорю, мою козу вашъ садовникъ на земляникѣ прихватилъ. Дозвольте ее взять, убить“. — „Ужъ это не въ первый разъ, говоритъ, я тебя оштрахую на два цалковыхъ“. — „Согласенъ, говорю, съ вами, виноватъ, подписываюсь въ этимъ. Такой грѣхъ, говорю, — у меня ее завсегда двѣ дѣвки стерегутъ, а вчера, какъ нарочно, — пострѣлъ ихъ знаетъ, сырыхъ грибовъ, что ль, наѣлись, — катаются, блюютъ, а жена-то, признаться, тоже не доглядѣла, въ пунѣкъ лежала, на крикъ кричала — рука развилась“... Надо вѣдь какъ-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза ядъ, какъ меня съѣздили по уху за-нее, — смѣется, подобрѣлъ. „Сколько, говорю, ни преслѣдую, никакъ не поймаю, и такъ хотѣлъ у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, изъ ружья ее пристрѣлить“. Ну, онъ и размякъ, дозволилъ взять, а я тутъ же и пристукнулъ ее.

— Пристукнулъ-таки? — спросилъ старикъ.

— Обязательно, — сказалъ Ѳедотъ. — „Ну, бери, говоритъ, только, смотри, съ моими не смѣшай“. — „Никакъ нѣтъ, говорю, я хорошо ее личность знаю“. Пошли на варокъ, взяли пастуха Пахомку. Глянулъ я, — сейчасъ же и замѣтилъ ее черезъ овецъ: стоитъ, жустритъ что-й-то, косится на меня. Согнали мы съ Пахомкой овецъ въ уголъ поплочнѣе, сталъ я къ ей подходить. Шага два сдѣлалъ, — она сигъ черезъ барана! И опять стоитъ, глядитъ. Я опять къ ей... Какъ она уткнетъ голову рогами въ земь, да какъ стреканетъ по овцамъ, — такъ тѣ отъ

ней, какъ вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомкѣ: „ты ее подгоняй потише, а я, гдѣ потемнѣе, влѣзу на переметъ, за рога ее перехвачу“. А навозу на дворѣ страсть сколько, подъ самые переметы въ иныхъ мѣстахъ. Залѣзъ я на переметъ, легъ, облапилъ покрѣпче, а Пахомка подпугиваетъ ее ко мнѣ. Дождался я, наконецъ, того, пока она подъ самый переметъ подошла — цопъ ее за рогъ! Какъ закричить она, — даже жуть меня взяла! Свалился съ перемета, ногами упираюсь, держусь за рогъ, а она претъ меня по двору, дотащила до ямы, вывернулась, заскребла рогомъ по бородѣ, по носу, — ажъ въ глазахъ потемнѣло... Глянулъ, а она ужъ на крышѣ: вскочила на навозъ, съ навозу на крышу, съ крыши — въ бурьянъ... Слышимъ, зашумѣли собаки на дворѣ, подхватили ее, турятъ по деревнѣ. Мы, конечно, выскочили, за ней. А она летитъ, что ни есть духу, и прямо къ крайней избѣ: тамъ изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сѣнецъ нѣту, а положены къ крышѣ наскосыкъ лозинки голыя. Такъ она по нимъ на самый князекъ взвилась — взнесла жъ ее вихорная сила! Подбѣжали мы поскорѣе, а она, видно, почуяла смерть — плачетъ благимъ матомъ, боится. Подхватилъ я здоровый кирпичъ, изловчился — да такъ ловко залѣпилъ, что она ажъ подсккнула, да какъ запуршитъ внизъ по крышѣ! Подбѣжали мы, а она лежитъ, дергаетъ языкомъ по пыли... вздохнетъ и захрипитъ, вздохнетъ и захрипитъ — альни пыль изъ-подъ носу подымается. А языкъ длинный, чисто какъ у змѣи... Ну, понятно, черезъ какой-нибудь полчаса и околѣла.



Помолчали. Өедотъ приподнялся, сѣлъ и, согнувшись, разводя руками, сталъ медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старыя, все спускавшіяся онучи. И черезъ минуту гимназистъ съ ужасомъ и отвращеніемъ увидалъ то, что прежде видѣлъ столько разъ совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-бѣлую, огромную, плоскую, съ безобразно разросшимся большимъ пальцемъ, криво лежащимъ на другихъ пальцахъ, и худую волосатую берцу, которую Өедотъ, распутавъ и кинувъ онучу, сталъ крѣпко, съ сладостнымъ ожесточеніемъ чесать, драть своими твердыми, какъ у звѣря, ногтями. Надравъ, онъ пошевелилъ пальцами ступни, взялъ въ обѣ руки онучу, залубенѣвшую, вогнутую и черную въ тѣхъ мѣстахъ, что были на пяткѣ и подошвѣ, — точно натертую чернымъ воскомъ, — и встряхнулъ ею, развѣвая по свѣжему вѣтру нестерпимое зловоніе. „Да, ему ничего не стоить убить!—дрожа, подумалъ гимназистъ.—Это нога настоящаго убійцы! Какъ онъ страшно убилъ эту прелестную козу! А того—брускомъ... вѣрно, косу точилъ... И прямо въ темя, наповалъ... Но Пашка! Пашка! Какъ онъ могъ такъ весело рассказывать? И съ наслажденіемъ: „ажъ въ спину выскочило!“

Вдругъ, не поднимая головы, сумрачно заговорилъ Иванъ:

— Дураковъ и въ алтарѣ бьютъ. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что жъ ты ее убилъ? Ты бы продалъ-то ее. Какой же ты послѣ этого хозяинъ, клюй-Матвѣй, когда не понимаешь, что безъ скотины мужику нельзя



быть? Ее цѣнить надо. Да будь у меня козато...

Онъ не договорилъ, помолчалъ и вдругъ усмѣхнулся.

— Это вотъ въ Становой была исторія, ну, правда что... Вотъ не хуже твоей козѣ, быкъ у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давалъ. Двухъ пастушатъ закололъ, на чѣпъ приковывали, и то срывался, уходилъ. Тоже вотъ такъ-то весь хлѣбъ у мужиковъ истолокъ, а согнать никто не смѣетъ: боятся, за версту обходятъ. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... поемирнѣлъ. Только мужики припомнили ему. Какъ пошли эти бунты, такъ они что сдѣлали: поймали его на полѣ, веревками обротали, свалили съ ногъ долой... бить не стали, а взяли да освѣжевали до-чиста. Такъ онъ, голый, и примчался на барскій дворъ, — разлетѣлся, грохнулся и околѣлъ тутъ же... кровью весь испелъ.

— Какъ? — сказалъ гимназистъ. — Кожу содрали? Съ живого?

— Нѣтъ, съ варенаго, — пробормоталъ Иванъ. — Эхъ, ты, московскій обуватель!

Всѣ захохотали, а Пашка, хохоча пуще всѣхъ, подхватилъ:

— Ну и разбойники! А ты такъ-то говоришь, мѣловать насъ! Нѣтъ, братъ, знать, безъ нашего брата, прохожаго солдата, тутъ не обойдешься! Мы вотъ, когда послѣ Сенякъ подъ Курскомъ стояли, такъ тоже смиряли одно село. Затѣялись тамъ мужики барина разбивать... И баринъ-то, говорятъ, добрый былъ... Ну, пошли на него всѣмъ селомъ, и бабы, конечно, увязались, а навстрѣчу имъ — стражники. Мужики, съ кольями, съ косами, — на

нихъ. Стражники сдѣлали залпъ, да, понятно, драло... какая тамъ чортъ сила въ этихъ мужланахъ! — а одна пуля и жильни ребенка на рукахъ у бабѣ. Баба жива осталась, а онъ, понятно, и не пискнулъ, такъ ножками и брыкнулъ. Такъ, Господи Ты Боже мой! — сказалъ Пашка, мотая отъ смѣха головой и усаживаясь поудобнѣй: — чего только ни натворили мужики! Все въ лоскъ, въ дребезги разнесли, барина этого самаго въ закуту загнали, затолкли, а мужикъ этотъ, отецъ-то этого ребенка, прибѣжалъ туда съ этимъ самымъ ребенкомъ, задохнулся, очумѣлъ отъ горя — и давай барина по головѣ этимъ ребенкомъ мертвымъ охаживать! Сгребъ за ножки — и давай бузовать. А тутъ другіе навалились и, значитъ, міромъ-сборомъ и прикончили. Насъ пригнали, а ужъ онъ тлѣть сталъ...

„Что жъ ты смѣешься-то, дуракъ!“ — хотѣлъ крикнуть гимназистъ, вдругъ почувствовавъ лютую ненависть къ смѣху, къ голосу Пашки. Но тутъ неожиданно зашевелился Кирюшка и съ дѣтской наивностью сказалъ, поднимая голову:

— А вотъ, что было, когда Кочергина-барина разбивали... беда! Я тогда въ пастухахъ у него жилъ... Такъ они всѣ зеркала въ прудъ покидали... Ходили потомъ съ деревни купаться и все изъ тины ихъ вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она подъ ногой такъ и скользнетъ... А эту... какъ ее... фортопяну въ рожъ заволокли... Мы, бывало, придемъ... — Кирюшка приподнялся и, смѣясь, облокотился. — Мы придемъ, а она стоитъ... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкамъ-то... съ угла на уголъ... Такъ она лучше всякой гармоньи играетъ!

Всѣ опять засмѣялись. Оедотъ переобулся, опять аккуратно перекрестилъ онучи оборками и, опра-

вившись, принялъ прежнее положеніе. И, выждавъ минуту молчанія, размѣренно сталъ досказывать свою исторію:

— Да-а, шмурыгнулъ меня по уху да еще въ судъ на меня подалъ... за эти, значитъ, за всѣ протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богдановъ... Андрей Ивановъ Богдановъ. Рослый мужикъ, красивый, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подалъ на меня. Меня же огрѣлъ по-уху и на меня же подалъ! Тутъ самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верстъ... За то-то, видно, и покаралъ его Господь...

Глядя въ солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоскія губы, Ѳедотъ говорилъ все сумрачнѣе и выразительнѣе. Сказавъ: „покаралъ его Господь“—онъ помолчалъ и продолжалъ:

— Дѣло-то на нѣтъ, понятно, свели. Помирили насъ. Обоюдная, значитъ, обида. Но только онъ тѣмъ не пронялся. Помирился со мной, да тутъ же отшелъ, пьяный напился, сталъ грозить убить меня. При всѣхъ кричитъ: „Погоди, говоритъ, погоди, это я еще не пьянъ сейчасъ, а выпью, я тебя утѣшу“. Хочу отъ скандалу уйтить, — за пельки хватается... Потомъ на деревню къ намъ зачалъ ходить: придетъ, пьяный, подъ окна и давай меня матеркомъ пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно!—сочувственно крикнулъ старикъ и зѣвнулъ.

— Хороша лада!—сказалъ Ѳедотъ.—Ну, вотъ и пришелъ подъ Кирики, вечеромъ. Слышу, шумить по улицѣ. Я всталъ, ни слова не говоря, ушелъ на дворъ, сѣлъ на борону, сталъ косу отбивать. А такая зло беретъ, ажъ въ глазахъ темнеетъ. Слышу—подшелъ къ избѣ, буянить. Должно, стекла

хочетъ бить, думаю себѣ. А онъ погамѣлъ и ужъ пошелъ-было прочъ. Тѣмъ бы и кончилось, можетъ, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своимъ голосомъ: „Отецъ, караулъ, меня Андрюшка бьетъ!“ Я выскочилъ съ брусомъ отъ костъ, да сгоряча — разъ его въ голову! А онъ и — нѣземъ. Подскочили къ нему, а онъ лежитъ, хрипитъ и ужъ слюни пускаетъ. Прибѣжалъ народъ, стали водой отливать... А онъ лежитъ и ужъ только икаетъ... Можетъ, тутъ надо было походатайствовать чѣмъ-нибудь... какой-нибудь примочки тамъ приложить, али еще чтò... въ больницу бы свезть поскорѣй, да доктору десятку... да гдѣ ее взять? Ну, онъ поикалъ, поикалъ, да и померъ къ ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готовъ. И народъ кругомъ стоитъ, смотритъ, молчитъ. А ужъ огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, съ пылающимъ лицомъ, гимназистъ поднялся и утопая по-поясъ въ соломѣ, пошелъ по омету внизъ. Борзая, испуганная имъ вдругъ вскочила и отрывисто брехнула. Гимназистъ, рѣзко дернувшись, упалъ въ солому и замеръ. Шумѣлъ холодный вѣтеръ, надъ самой головой бѣлѣла кучка холодныхъ осеннихъ звѣздъ, а за бугромъ шелестѣвшей соломы слышался мѣрный, низкій голосъ Федота:

—Я въ пунькѣ подъ стражей два-дни сидѣлъ и все это въ окошечкѣ видѣлъ... какъ анатомили-то его. Сошелся народъ со всѣхъ деревень, смотрѣтъ этого убійца и меня, конечно, въ томъ числѣ. Лѣзутъ подъ самую пуньку... Вынесли двѣ скамейки на выгонъ, поставили подъ самой пунькой, положили на нихъ убійца. Подъ голова чурбанъ подсунули. Рѣзаку и слѣдователю стулья, столъ принесли. По-



дошелъ рѣзакъ, рубаху оборвалъ, портки оборвалъ — лежитъ, вижу, трупъ совсѣмъ голый, ужъ твердый, весь, гдѣ зеленый, гдѣ желтый, а лицо вся восковая, красная борода стала рѣдкая, такъ и отдѣляется. На причинное мѣсто рѣзакъ лопухъ положилъ. Тутъ же, обыкновенно, ящикъ съ разными причандалами. Подошелъ рѣзакъ, разобралъ ему волосы отъ уха къ уху, сдѣлалъ надрѣзъ и зачалъ половинки съ волосами зачищать. Гдѣ отѣнокъ, ножичкомъ скоблить. Отодралъ ихъ на обѣ стороны, открылъ одну, на носъ положилъ. Сталъ виденъ черепокъ весь — какъ колгущка какая... А на немъ пятно черная околъ праваго уха, черная сгущенная кровь, — гдѣ, значитъ, ударъ-то былъ. Рѣзакъ говоритъ слѣдователю, а тотъ пишетъ: „На такихъ-то сводахъ, три трещины“... Потомъ зачалъ черепокъ кругомъ подпиливать. Пила не взяла, такъ онъ вынулъ молоточекъ съ зубрильцемъ и по этому слѣдку, гдѣ пилкой-то намѣтилъ, зубрильцемъ прострочилъ. Черепокъ такъ и отвалился, какъ чашка, сталъ весь мозгъ виденъ...

— Что дѣлають, разбойники-живорѣзы! — хрипло замѣтилъ задремавшій-было старикъ.

А Ѳедотъ твердо договаривалъ:

— Потомъ вынулъ толстый ножъ, сталъ рѣзать грудь по хрушмамъ. Вырубилъ косякъ, сталъ отдирать — трещить даже... Стало видать желудокъ весь, легкія синія, всю нутренность...

Глухой отъ стука собственнаго сердца, гимназистъ поднялся на ноги, во весь свой длинный ростъ, въ картузъ, сдвинутомъ на затылокъ, въ легкой шинелькѣ, которая была уже коротка ему. Сѣрый, большой, страшный въ своемъ монгольскомъ спокойствіи Ѳедотъ мѣрно говорилъ, держа трубку въ

зубахъ, но онъ уже не слушалъ его. Онъ во всѣ глаза глядѣлъ на всѣхъ этихъ, такихъ знакомыхъ и такихъ чужихъ, непонятныхъ, всю душу его перевернувшихъ въ эту ночь людей. Жалкій въ своемъ порокѣ и смиренности, въ своей пастушеской первобытности, Кирюшка спалъ, покрывшись армякомъ, выставивъ изъ-подъ него толстую, въ бѣлыхъ онучахъ, согнутую въ колѣнѣ ногу. Спалъ и Иванъ съ сумрачнымъ, презрительнымъ лицомъ, Иванъ, въ черной землянкѣ котораго, въ оврагахъ на краю голой деревни, въ темнотѣ и грязи, подъ низкимъ потолкомъ, подъ дерновой крышей, уже третій годъ лежитъ, умираетъ и никакъ, къ тоскѣ своей, не умретъ его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормитъ темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузаго, сопливаго, ясноглазаго ребенка, съ губами, въ кровь источенными несмѣтными изъяными мухами. Спалъ крѣпкимъ, здоровымъ сномъ, на свѣжемъ вѣтру, счастливый Пашка, въ своемъ солдатскомъ картузѣ, тяжелыхъ сапогахъ и новомъ полушубкѣ. А старикъ Хомутъ, у котораго нѣтъ даже полушубка, — есть только зипунъ съ большой прорѣхой на плечѣ, — у котораго такъ низко висятъ всегда на дряблыхъ ляжкахъ истертые портки, сидѣлъ спиной къ вѣтру, безъ шапки, голый по-поясъ. Онъ, старчески-худой, желтотѣлый, съ косо-поднятыми плечами, съ искривленнымъ крупнымъ позвоночникомъ, блестящимъ при свѣтѣ звѣздъ, сидѣлъ, наклонивъ большую лохматую голову, которую ерошилъ свѣжій вѣтеръ, согнувъ свою уже тонкую, всю въ жесткихъ морщинахъ шею, пристально осматривалъ снятую рубаху и, слушая Оедота, порою крѣпко давилъ ногтями ея воротъ.

Гимназистъ соскочилъ на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошелъ къ темному шумящему саду, домой.

Всѣ три собаки тоже поднялись и, смутно бѣлѣя, бочкомъ побѣжали за нимъ, круто загнувъ хвосты.

Капри. 19.—23. XII. 1911

С В Е Р Ч О К Ъ





Эту небольшую исторію разсказалъ шорникъ Сверчокъ, весь ноябрь работавшій вмѣстѣ съ другимъ шорникомъ, Василиемъ, у помѣщика Ремера.

Ноябрь стоялъ темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру съ его молодой женой, скупо и дѣльно хозяйствовавшимъ въ дѣдовской усадьбѣ, было скучно, и вотъ они стали ходить по вечерамъ изъ своего забитаго двухъ-этажнаго дома, гдѣ только внизу, подѣ колоннами, была одна сносная жилая комната, въ старый флигель, въ упраздненную контору съ обвалившейся штукатуркой, гдѣ зимовала птица и помѣщались шорники, работникъ и работница.

Вечеромъ подѣ Введеніе несло непроглядной мокрой вьюгой. Въ просторной и низкой конторѣ, когда-то бѣленой мѣломъ, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горѣвшей на верстакѣ, сапожнымъ варомъ, политуры и мятной кислотой кожи, куски и обрѣзки которой, вмѣстѣ съ инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и мѣднымъ наборомъ, навалены были и на верстакѣ, и на затоптанномъ, какъ въ закутѣ, засоренномъ полу. Воняло и птицей изъ темной кухни, куда была отво-

рена дверь, но Сверчокъ и Василій, ночевавшіе въ этой вонѣ и каждый день сидѣвшіе въ ней съ согнутыми спинами не менѣе десяти-одиннадцати часовъ, были, какъ всегда, очень довольны своимъ помѣщеніемъ, особенно же тѣмъ, что Ремеръ не жалѣетъ топки. Съ узенькихъ подоконниковъ капало, на черныхъ стеклахъ сверкалъ и рѣзко бѣлѣлъ липкій мокрый снѣгъ. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина въ полушубкѣ и мужицкихъ сапогахъ, назаябшаяся за день, отдыхала на продранномъ стулѣ у вымазанной помѣлу глиной, горячей печки. Она грѣла спину и руки и, немного склонивъ на бокъ голову, закутанную шалью, не сводя остановившихся глазъ съ огня, слушала шумъ вѣтра, потрясавшаго порою весь флигель, постукиванье молотка по хому, который дѣлалъ Василій, и старчески-дѣтское дыханіе лысаго Сверчка, возившагося надъ шлеей и въ затруднительныя минуты шевелившаго краснымъ кончикомъ языка.

Лампочка, облитая керосиномъ, стояла на самомъ краю верстака и какъ разъ посрединѣ между работавшими, чтобы виднѣе было обоимъ, но Василій то и дѣло подвигалъ ее къ себѣ своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, увѣренность въ силѣ чувствовались и во всей фигурѣ этого черноволосаго человѣка, похожаго на малайца, — въ каждой выпуклости его мускулистаго тѣла, ясно обозначавшагося подъ тонкой, точно истлѣвшей рубахой, бывшей когда-то красной, и казалось всегда, что Сверчокъ, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, какъ всѣ дворовые люди, побаивается Василія, выросшаго въ городѣ и никогда никого не

боявшагося. Казалось это и самому Василию, даже усвоившему себѣ манеру, какъ бы въ шутку, на забаву окружающимъ, покрикивать на Сверчка, охотно помогавшаго этой шуткѣ, — тоже, не то въ серьезъ, не то для забавы, пугавшагося этихъ окриковъ.

Василій, держа между колѣнками, прикрытыми засаленнымъ фартукомъ, новый хомутъ, обтягивалъ его толстой, темно-лиловой пахучей кожей, одной рукой крѣпко захватывалъ ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая изъ сжатыхъ губъ гвозди съ мѣдными шляпками, втыкая ихъ въ наколы, заранее сдѣланные шиломъ, и затѣмъ съ одного маха, ловко и сильно вколачивая молоткомъ. Онъ низко нагнулъ свою большую голову въ черныхъ, влажно-курчавыхъ волосахъ, перехваченныхъ ремешкомъ, и работалъ съ той пріятной и себѣ и окружающимъ, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантомъ. Напряженно работалъ и Сверчокъ, но напряженность эта была иного рода. Онъ прошивалъ концомъ новую, еще нечерненную, розово-тѣлеснаго цвѣта шлею, какъ и Василій, захвативъ ее въ колѣни, и съ трудомъ накалывалъ, съ трудомъ, — шевеля языкомъ и приноравливая къ свѣту лысую голову, — попадалъ щетиной въ дырочки, хотя раздиргивалъ въ разныя стороны и закрѣплялъ конецъ тоже ловко и сильно, даже съ нѣкоторымъ удалствомъ стараго, наторѣлаго мастера.

Наклоненное къ хомуту лицо Василя, широкое, съ выступающими подъ маслянистой желто-смуглой кожей костями, съ рѣдкими и жесткими черными волосами надъ углами губъ, было строго, нахму-

рено и значительно. А по наклоненному къ плечу лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Онъ былъ ровно вдвое старше Василя и чуть не вдвое меньше ростомъ. Сидѣлъ ли онъ, вставалъ ли, разниа была не велика, — такъ коротки были его ноги, обутыя въ разбитые, ставшіе отъ старости мягкими, сапоги. Ходилъ онъ, — тоже отъ старости и отъ килы, — неловко, согнувшись, такъ, что отставалъ фартукъ и виденъ былъ глубоко провалившійся животъ, слабо, подѣтски подпоясанный. По-дѣтски темны были его черные глазки, похожіе на маслинки, а лицо имѣло слегка лукавый, насмѣшливый видъ: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнѣли двѣ тонкихъ, всегда мокрыхъ косички, западала. Въмѣсто „баринъ“ говорилъ онъ „баинъ“, вмѣсто „было“ — „быво“ и часто всхлипывалъ, подтирая большой холодной рукой, суставами указательнаго пальца, свой повисшій носикъ, на концѣ котораго все держалась свѣтлая капелька. Пахло отъ него махоркой, кожей и еще чѣмъ-то острымъ, какъ отъ всѣхъ стариковъ, купающихся два-три раза въ годъ.

Сквозь шумъ мятели слышался изъ сѣней топотъ обиваемыхъ отъ снѣга ногъ, хлопанье дверей — и, внося съ собой свѣжій хорошій запахъ, вошли господа, залѣпленные бѣлыми хлопьями, съ мокрыми лицами и блестками на волосахъ и одеждѣ. Темно-красная борода и густые, нависшіе надъ серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротникъ его мохнатаго пальто и каракулевая шапка казались отъ этихъ блестокъ еще великолѣпнѣе, а нѣжное, милое лицо его жены, ея мягкія длинныя рѣсницы, сине-сѣрые



глаза и пуховый сѣрый платокъ еще нѣжнѣе и милѣе. Кухарка хотѣла уступить ей продранный стулъ, она ласково поблагодарила ее, заставила остаться на своемъ мѣстѣ и сѣла на скамью въ другой уголъ, осторожно снявъ съ нея узду со сломанными удилами; потомъ слабо вѣвнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрѣлась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремеръ закурилъ и сталъ ходить по комнатѣ, не раздѣвшись и не снявъ шапки. Она тоже не раздѣлась, сидѣла, какъ будто чего ожидая, и счастливо думала то о своей беременности, то о той новой, пріятно-непривычной жизни, которой она уже полгода жила въ деревнѣ, то о далекой Москвѣ, ея улицахъ, огняхъ, трамваяхъ. Какъ всегда, господа пришли только на минутку, — ужъ очень тяжелый и теплый былъ у шорниковъ воздухъ, — но потомъ, какъ всегда, забылись, потеряли обоняніе, заговорились... И вотъ тутъ-то, неожиданно для всѣхъ, и рассказалъ Сверчокъ о томъ, какъ замерзъ его сынъ.

— Однако ты, братъ, ловокъ, — прошепелявилъ онъ, когда Василій, поздоровавшись съ господами кивкомъ головы, опять придвинулъ къ себѣ лампочку. — Однако ты, бѣать, вовокъ. Я небось, постарше тебя немножко, — сказалъ онъ, всхлипывая и подтирая носъ.

— Чтò? — притворно-грозно крикнулъ Василій, сдвигая брови. — Можетъ, тебѣ еще газовый рожокъ зажечь? Ослѣпъ — такъ въ богадѣльню.

Всѣ улыбнулись, — даже и барыня, которой все-таки немного непріятны были эти шутки, всегда немного жалко Сверчка, — и подумали, что Сверчокъ, какъ всегда, отпустить что-нибудь смѣшное. Но на этотъ разъ онъ только головой покрутилъ

и, вздохнувъ, разогнулся и остановилъ взглядъ на черныхъ стеклахъ, залѣпленныхъ мокрыми бѣлыми хлопьями. Потомъ, взявъ шило своей большой, въ крупныхъ жилахъ и съ широко разставленными суставами большого и указательнаго пальцевъ рукой, неловко и съ трудомъ воткнулъ его въ розоватую сырую кожу. Кухарка, замѣтивъ, что онъ смотрѣлъ на окна, заговорила о томъ, какъ она боится, что ея мужикъ, поѣхавшій за коноваломъ въ Чичерино, замерзнетъ, собьется съ дороги въ такую куру, какъ вдругъ Сверчокъ, дѣлая видъ, что очень занятъ шлеей, отклоняясь и оглядывая ее, сказалъ съ грустнымъ добродушіемъ:

— Да, братъ, ослѣпъ... Поневолѣ ослѣпнешь! Ты вотъ доживи-ка до моихъ годовъ, да почувствуй съ мое! Анъ не доживешь! Я вотъ споконъ вѣку такой, неизвѣстно, въ чемъ душа держится, а все тянулся, жилъ — и еще бы столько же прожилъ, какъ бы было зачѣмъ. Я, братъ, очень даже хотѣлъ жить, пока было антиресно, и жилъ, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаемъ. Молода, въ Саксонѣ не была...

Василій посмотрѣлъ на него пристально, какъ посмотрѣли и господа и кухарка, удивленные его необычнымъ тономъ, — на минуту, въ молчаніи, особенно явственно сталъ слышенъ шумъ вѣтра вокругъ флигеля, — и серьезно спросилъ:

— Чтò это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказалъ Сверчокъ, поднимая голову.

— Нѣтъ, братъ, я не буровлю. Я это про сына вспомнилъ. Слышалъ, небось, какой молодецъ былъ? Пожалуй, еще почище тебя будетъ, да и силой не уступилъ бы, а вотъ не могъ же того выдержать, чтò я.

— Вѣдь онъ замерзъ, кажется? — спросилъ Ремеръ.

— Замерзъ, я его зналъ, — отвѣтилъ Василій и, не стѣсняясь, какъ говорятъ о ребенкѣ при немъ же самомъ, добавилъ: — Да онъ и не сынъ ему, говорятъ, былъ, — Сверчку-то. Не въ мать, не въ отца, а въ проѣзжаго молодца.

— Это дѣла иная, — такъ же просто сказалъ и Сверчокъ: — это все можетъ быть, а почиталъ онъ меня не меньше отца, дай Богъ, чтобъ твои такъ-то тебя почитали, да и я не докапывался, сынъ онъ мнѣ али нѣтъ, моя кровь аль чужая... авось, она у всѣхъ одинаковая! Сила въ томъ, что онъ, можетъ, дороже десятерыхъ родныхъ мнѣ былъ. Вы вотъ, баринъ, и вы, сударыня — сказалъ Сверчокъ, поворачивая голову къ господамъ и особенно ласково выговаривая: „судаыня“, — вы вотъ послушайте, какъ было-съ это дѣло, какъ замерзъ-то онъ. Я вѣдь его всю ночь на закоркахъ таскалъ!

— Кура сильная была? — спросила кухарка.

— Никакъ нѣтъ, — сказалъ Сверчокъ. — Туманъ.

— Какъ туманъ? — спросила, внезапно оживляясь, барыня. — Да развѣ въ туманъ можно замерзнуть? И зачѣмъ же вы его таскали?

Сверчокъ кротко улыбнулся.

— Хм! — сказалъ онъ. — Да вы того, сударыня, и вообразить себѣ не можете-съ, до чего онъ, туманъ-то этотъ, можетъ замучить! А таскалъ я его затѣмъ, что ужъ очень жалко было-съ, все думалъ отстоять его отъ этого... отъ смерти-то. Это такъ вышло, — картаво началъ онъ, обращаясь не къ Василю и не къ Ремеру, а только къ одной барынѣ: — это вышло-съ какъ разъ подь самый Николинъ день...

— А давно? — спросилъ Ремеръ.

— Да лѣтъ пять или шесть тому назадъ, — отвѣтилъ за Сверчка Василій, серьезно слушая и свертывая цыгарку.

Сверчокъ мелькомъ, старчески-строго, глянулъ на него.

— Оставь мнѣ затануться, — сказалъ онъ и продолжалъ: — работали мы, сударыня, у барина Савича въ Огневкѣ, — онъ, сынъ-то, со мной всегда ходилъ, не отбивался отъ меня, зналъ, что плохому не научу, — ну, работали и работали, а квартиру въ селѣ снимали, жили послѣ смерти матери въ родѣ какъ два дружныхъ товарища. Подходить, наконецъ того, Николинъ день. Надо, думаемъ, домой отличатся, немножко въ порядокъ себя привести, а то, по совѣсти сказать, ужъ очень все на насъ землѣ предалось. Собираемся этакъ на-вечеръ, а того и не видимъ, что такая стыдъ да еще съ туманомъ къ вечеру завернула, альни деревни за лужкомъ не видать, ужъ не говоря про то, что очень мѣстность вездѣ глухая. Копаемся, прибираемъ струментъ въ этой самой банѣ, гдѣ мы, значитъ, спасались, никакъ ничего не найдемъ въ темнотѣ, — скупой баринъ-то былъ, огарочка не разживеешь, — чувствуемъ, что припоздали маленько, и, вѣрите ли, такая тоска вдругъ взяла меня, что я и говорю: „Дорогой ты мой товарищъ, Максимъ Ильичъ, ай намъ остаться, до утра подождать?“

— А васъ Ильей зовутъ? — спросила барыня, вдругъ вспомнивъ, что она до сихъ поръ не знаетъ имени Сверчка.

— Ильей-съ, — ласково сказалъ Сверчокъ и, всхлипнувъ, потеръ носъ: — Ильей Капитоновымъ.



Но только сынъ-то меня тоже Сверчкомъ звалъ и все, — вотъ не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, — шутилъ, грубянилъ со мной. Ну, конечно, пошутилъ, закричалъ и тутъ... развѣ молодому о смерти-то думается? „Это еще, молъ, что такое? Поговори у меня!“ — Нахлобучилъ мнѣ шалку по уши, надѣлъ свою, ремешкомъ подтянулся, — красавецъ былъ, сударыня, истинную вамъ правду говорю-съ! — взялъ палочку и безъ дальнихъ разговоровъ маршъ на крыльцо. Я за нимъ... Вижу, туманъ страсть какой и ужъ совсѣмъ стемняло, барскій садъ весь сизыми шапками, инеемъ обросъ, — какъ туча какая въ сумеркахъ, въ туманѣ этомъ мерещится, — да дѣлать, значить, нечего, не хочу молодого чело-вѣка обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а оконъ у барина ужъ не видать, все сѣрое, сумрачное сдѣлалось, стоитъ, надвинулось, даже смотрѣть жутко. Отвернулся я отъ вѣтру, — въ одну минуту духъ захватило, такъ и несетъ холодомъ съ этой мгой, туманомъ, въ родѣ какъ дыханіе какое, — чувствую, что ужъ на двухъ шагахъ до самыхъ костей прохватило, а сапоги-то на насъ нагольные, да и поддевочки на переметьевскій счетъ шиты, и опять говорю: „Ой, вернемся, Максимъ, не форси!“ Онъ было и задумался... Да, извѣстно, дѣло не старое, по себѣ, небось, сударыня, знаете, — какъ свою гордость не показать? — насупился поскорѣе и опять пошелъ. Входимъ въ деревню, — конечно, потише стало, вездѣ огни по избамъ, хоть и мутные, а все-таки жильё, — онъ и бубнить: „Ну, видишь? Чего дрожалъ? Видишь, на ходу-то куда теплѣй, это только сначала такъ студено показав-



лось, а теперь совсѣмъ тепло... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну..." А ужъ какая тамъ, сударыня, тепло, всѣ водовозки на-четверть инеемъ обросли, всѣ лозинки къ землѣ пригнуло, крышъ не видать отъ туману и морозу... Конечно, жильё, да отъ этихъ огней туманъ еще больше выдаетъ, и всѣ рѣсницы у меня въ инеѣ, отяжелѣли, какъ у лошади хорошей, а барскихъ оконъ на томъ боку и званія не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая чтò ни на есть волчиная глухомань...

Василій нахмурился, пустилъ въ обѣ ноздри дымъ и, подавая окурокъ Сверчку, перебилъ его:

— Ну, ты, гвухоманъ, этакъ до второго пришествія не кончишь. Ты скорѣй рассказывай.

И дѣловито перевернулъ въ колѣняхъ хомутъ, намѣреваясь продолжать работу. Сверчокъ, щепотками, кончиками прокопченныхъ падьцевъ взявъ у него окурокъ, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, какъ бы слушая свое дѣтское дыханіе и шумъ вѣтра за стѣнами. Потомъ не смѣло сказалъ:

— Ну, Богъ съ тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотѣлъ сказать, что просто мы заблудились въ двухъ шагахъ. Мы, сударыня, — продолжалъ онъ увѣреннѣе, взглянувъ на барыню, уловивъ въ ея глазахъ сочувствіе и вдругъ острѣе почувствовавъ свое давно ставшее привычнымъ горе: — мы дорогу, значить, потеряли. Какъ только вышли-съ за деревню, да попали въ эту темь, во мгу, въ холодъ, да прошли, можетъ, съ версту, такъ и заблудились. Тутъ большой верхъ, агромадный лугъ, буераки до самого села идутъ, а надъ ними дорога зимняя всегда есть, вотъ

мы и потрафляли по ней, все думали, что вѣрно держимся, а замѣсто того влѣво забрали по чѣму-то слѣду, къ бибииковскимъ, значитъ, оврагамъ, и слѣдъ этотъ тоже, на бѣду, упустили, а ужъ тамъ и пошли мѣсить по снѣгу, по вѣтру, какъ попало. Да это все, сударыня, исторія извѣстная, — кто не блудилъ, всѣ блудили, — а я то хотѣлъ сказать, какую мѹку-съ я за эту ночь принялъ! Я, правда, до того оробѣлъ, до того испугался, какъ, значитъ, прокружились мы часа два, али три, да зарыали, задохнулись, обмерзли, стали въ пень и видимъ, что въ отдѣлку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня ажъ руки, ноги огнемъ закололо, — всякому, понятно, свой животъ дорогъ, — но только я и въ мысляхъ не держалъ, что дальше-то будетъ, какъ накажетъ меня Господь! Я, понятно, такъ и думалъ, что мнѣ первому конецъ, — много ль во мнѣ духу, сами изволите видѣть, — а какъ увидалъ, что я-то еще живъ, стою, а ужъ онъ на снѣгъ сѣлъ, какъ увидалъ это...

Сверчокъ слегка вскрикнулъ на послѣднихъ словахъ, взглянулъ на кухарку, которая уже плакала, и, вдругъ заморгавъ, исказивъ и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, сталъ торопливо искать кيسетъ. Василій сердито сунулъ ему свой, и онъ, вертя прыгающими руками цыгарку и роняя въ табакъ слезы, опять заговорилъ, но уже новымъ, размѣренно-твердымъ и повышеннымъ тономъ:

— Дорогая моя, сударыня, у насъ былъ баринъ Ильинъ, лютѣй его во всей губернии не было, — до нашего, то-есть, брата, до двороваго, — такъ вотъ онъ замерзъ, подъ городомъ нашли, — лежитъ въ возкѣ, весь снѣгомъ забитъ, и самъ окоченѣлъ

ужь давно, и во рту ледъ, а возлѣ него сидить-дрожить кобель живой, сетеръ его любимый, подъ шубой подъ енотовой: онъ, значитъ, злодѣй-то такой, шубу свою собственную снялъ съ себя и кобеля накрылъ, а самъ замерзъ, и кучеръ его замерзъ, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколѣла... А вѣдь тутъ не кобель, тутъ — сынъ родной, дорогой мой товарищъ! Да сударыня! Чтò мнѣ было снять-то съ себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мнѣ, на немъ была вдвое теплѣй... Да тутъ и шубой не помогъ бы! Тутъ хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь бѣлый свѣтъ кричи — никого не докричишься! Онъ вскорости еще пуще меня испугался, и вотъ отъ этого отъ самаго и пропали-то мы. Какъ только упустили мы этотъ слѣдъ, онъ сразу и заметался. Сперва все покрикивалъ, зубами ляскалъ да отдувался, какъ, значитъ, до животовъ-то прохватило насъ вѣтромъ съ морозомъ, потомъ въ родѣ какъ опалѣлъ. „Стой! — кричу. — Ради Христа, стой, давай сядемъ, задумаемся!..“ Молчить. Я его за рукавъ хватаю, опять кричу... Молчить, да и только! Либо не понимаетъ ничего, либо не слышитъ. Темъ хоть глазъ выколи, ногъ, рукъ ужь не чуемъ, все лицо инеемъ занесло, сковало, губъ въ родѣ какъ совѣмъ нѣту — одна челюсть голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудитъ вѣтеръ въ уши, несетъ мгу эту, а онъ кружится, мечется — и ничего не слушаетъ меня. Бѣгу, глотаю туманъ, вязну по поясъ... того гляди, думаю, изъ виду его упущу... вдругъ — разъ! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись въ снѣгу... чую — въ оврагахъ сидимъ. Помолчали, помолчали, отдышались — вдругъ онъ и

говорить: „Это что, отецъ? Бибиковскіе овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнемъ. Вылѣземъ — цѣликомъ назадъ пойдемъ. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, — я тебя доведу“. А ужъ голосъ-то дикій, не живой. Не говоритъ, а рубить... И вотъ тутъ-то я и понялъ, что пропали мы. Вылѣзли, опять пошли, опять ошалѣли... мѣсили, мѣсили снѣгъ еще часа два, попали въ кустарникъ дубовый, да какъ наткнулись на него, да поняли, что мы ужъ верстахъ въ пятнадцати отъ Огневки, въ степи пустой, — тутъ онъ и сѣлъ вдругъ: „Сверчокъ, прощай“. — „Стой, какъ прощай? Очнись, Максимъ!..“ Нѣтъ, — сѣлъ и смолкъ...

— Долга пѣсня рассказывать, сударыня! — вдругъ опять звонко сказалъ Сверчокъ, искажая брови. — Тутъ и страхъ весь пропалъ у меня. Какъ сѣлъ онъ, мнѣ такъ въ голову и вдарило: а-а, думаю, вонъ что, — помирать мнѣ теперь, видно, время нѣтъ! Руки сталъ у него цѣловать, умолять — молъ, поддержишь хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдемъ цѣликомъ, обопрись на меня! Нѣтъ, — валится съ ногъ долой да и только! А я бы и померъ отъ такой страсти, да ужъ — не могу... не въ состояніи... И когда ужъ кончился онъ, смолкъ совсѣмъ, отяжелѣлъ, оледянѣлъ, я его, мужчину такого, на закорки навалилъ, подъ ноги подхватилъ — и поперъ цѣликомъ. Нѣтъ, думаю, стой, нѣтъ, шалишь, не отдамъ, — мертвого буду сто ночей таскать! Бѣгу, вязну въ снѣгу, а у самого духъ отъ тяжести занимается, волосы дыбомъ отъ страху встаютъ, какъ онъ своей студеной головой, — картузь-то ужъ давно свалился, — по плечу моему елозить, до уха касается. А все бѣгу да кричу, какъ шаль-



ной: „нѣтъ, постой, не отдамъ, помирать мнѣ теперь не время!“ Думалось такъ, сударыня, — сказалъ Сверчокъ вдругъ упавшимъ голосомъ и заплакалъ, вытирая рукавомъ глаза, выбирая на рукавѣ мѣстечко менѣе грязное, ближе къ плечу: — думалось такъ... принесу на село... можетъ, оттаетъ, ототру...

Долго спустя, когда Сверчокъ уже успокоился и, закуривъ новую цыгарку, сталъ пристально смотрѣть красными глазами въ одну точку передъ собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василиій серьезно сказалъ:

— А напрасно я тебя окоротилъ. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаялъ такой прыти отъ тебя.

— Вотъ то-то и оно-то, — тоже серьезно и просто отвѣтилъ Сверчокъ. — Тутъ, братъ, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лѣтъ? — спросилъ Ремеръ, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся послѣ слезъ, и тревожно думая о томъ, какъ бы это не повредило ей въ ея положеніи.

— Двадцать пятый-съ, — отвѣтилъ Сверчокъ.

— И больше у васъ не было дѣтей? — робко спросила барыня.

— Нѣтъ-съ, не было...

— А у меня вонъ цѣлыхъ семеро, — нахмуриваясь, сказалъ Василиій. — Изба два шага, а ихъ куча. Тоже не велика сласть и дѣти. Намъ, видно, чѣмъ раньше помереть, тѣмъ выгоднѣе.

Сверчокъ подумалъ.

— Ну, это не нашего ума дѣло, — еще проще, серьезнѣй и грустнѣй отвѣтилъ онъ и опять взялся



за шило. — Не замерзни онъ, меня, братъ, до ста-  
лѣтъ никакая смерть не взяла бы.

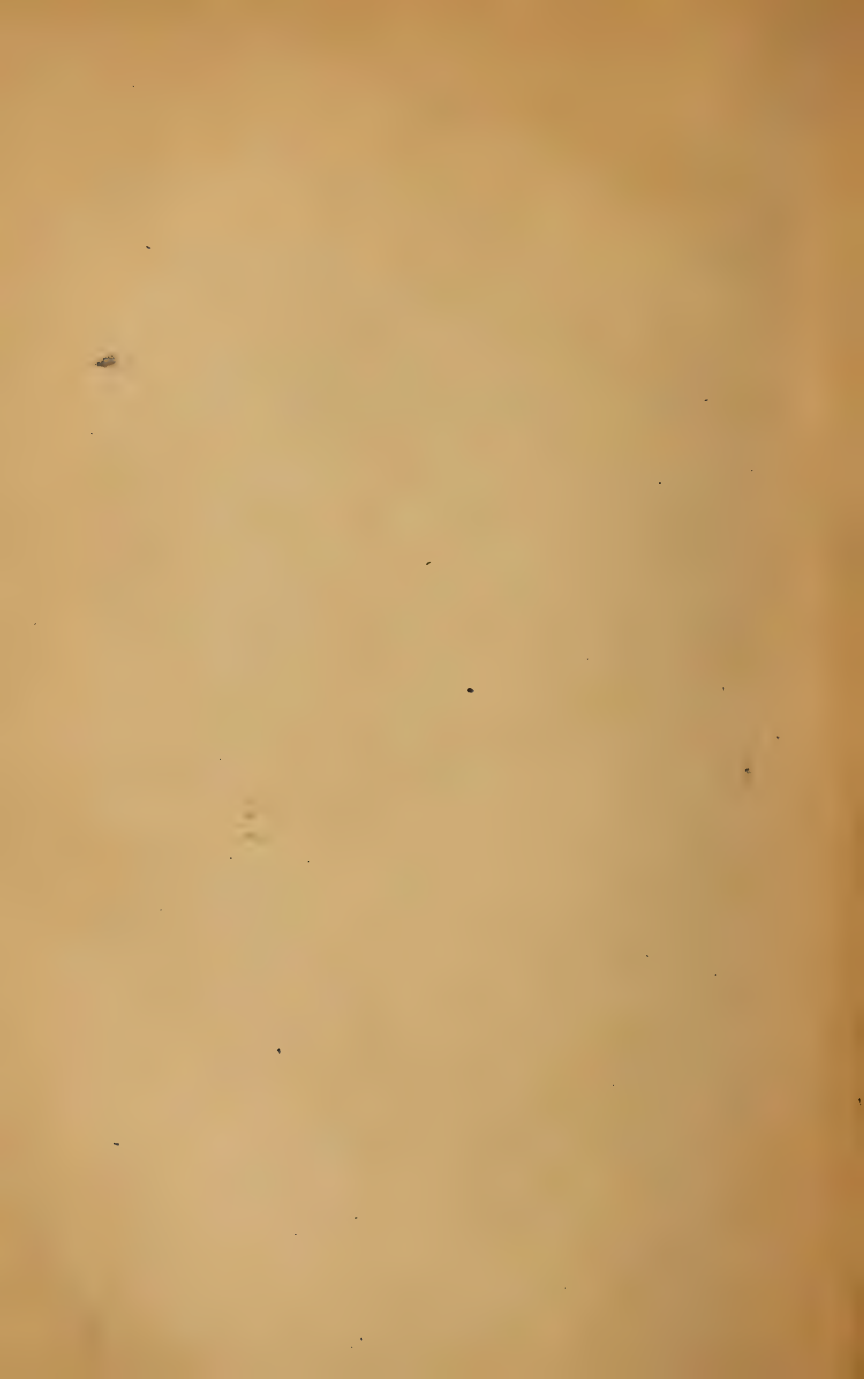
Господа переглянулись и, застегиваясь, подня-  
лись съ мѣсть. Но еще долго стояли и слушали,  
какъ отвѣчалъ Сверчокъ на разспросы кухарки о  
томъ, донесъ ли онъ сына до села, чѣмъ кончи-  
лось дѣло. Сверчокъ отвѣчалъ, что донесъ, но  
только не до села, а до желѣзной дороги, и  
упалъ, споткнувшись на рельсы. Обморозилъ руки,  
ноги и уже совсѣмъ терялъ сознание. Разсвѣло,  
шла мятель, все бѣлѣло, а онъ сидѣлъ въ степи  
и смотрѣлъ, какъ заноситъ снѣгъ его мертваго  
сына, набивается ему въ рѣдкіе усы и въ бѣлыя  
уши. Подняли ихъ кондуктора товарнаго поѣзда,  
шедшаго изъ Балашова.

— Дивное дѣло, — сказала кухарка, когда онъ  
кончилъ: — не пойму я того, какъ ты самъ-то въ  
такую страсть не замерзъ?

— Не до того было, матушка, — отвѣтилъ Свер-  
чокъ разсѣяннo, ища что-то на верстахъ, въ об-  
рѣзкахъ кожи.



# ВЕСЕЛЫЙ ДВОРЪ





# I

Мать Егора Минаева, печника изъ Пажени, такъ была суха отъ голода, что сосѣди звали ее не Анисьей, а Ухватомъ. Прозвали и дворъ ея — окрестили въ насмѣшку веселымъ. И она не обижалась. Хорошо понимала она, что не можетъ не раздражать сосѣдей нищета, безхозяйственность ея двора, вѣчный голодъ и даже самое существованіе ея на свѣтѣ.

Егоръ, какъ говорили въ Пажени, весь выдался въ Мирона, покойнаго отца своего: такой же пустоболтъ, сквернословъ и курильщикъ, только подобрѣй характеромъ.

— Сосѣдъ онъ хоть куда, — говорили про него, — и печникъ хорошій, а мужикъ дуракъ, рубаха: ничего нажить не можетъ.

Заработки у Егора всегда были плохи, надѣлъ споконъ вѣку не выходилъ изъ сдачи. Изба его, огромная, нескладная, съ каждымъ годомъ все больше да больше сгнивала, разваливалась безъ призора. Онъ-то, правда, думалъ, что заботится о ней: разъ принесъ откуда-то и налѣпилъ снаружи на ея косою простѣнокъ, на трухлявыя бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на бѣломъ бумажномъ листѣ туловище,

съ ружьемъ на плечо, въ фуражкѣ на бекрень, съ тупо вытаращенными глазами. А вотъ поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борová почистить — на это у него догадочки не хватило, и зимой въ избѣ волковъ можно было морозить: по всеѣмъ угламъ нарастала снѣжная опушка. Давнымъ-давно по чуркѣ растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мѣшала Анисья.

Егоръ былъ бѣлесъ, лохматъ, не великъ, но широкъ, съ высокой грудью. Ходилъ Егоръ въ облѣзломъ, голубомъ отъ времени и тяжеломъ отъ пота, гимназическомъ картузѣ, въ посконной рубахѣ съ обитымъ, скатавшимся воротомъ, въ обвисшихъ, протертыхъ и вытянутыхъ на колѣняхъ порткахъ, въ лаптяхъ, обожженныхъ известкой. Замашки у Егора были престранныя: очень любилъ онъ, напимѣръ, и вкусъ водки, и тотъ моментъ, когда въ головѣ „забрусить маленько“, „замолаживать“ станетъ, но не меньше любилъ и сладкое, молочную лапшу, жамки; работая по купцамъ, по господамъ, всегда дружилъ онъ съ барчуками-подростками, сказывалъ имъ похабныя сказки про попа, понадью и батрака, ея любовника, вралъ не судомъ про свою рѣшительность въ обращеніи съ бабами, прикидываясь страшнымъ распутникомъ, сулилъ сводничество и за все за это заставлялъ красть изъ дому сахаръ, папиросы, бѣлый хлѣбъ. Да и всюду много и безъ толку болталъ Егоръ, постоянно сосалъ трубку, до слезъ надрываясь мучительнымъ кашлемъ, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипѣлъ, носилъ своей всегда поднятой грудью. Кашлялъ онъ отъ табаку, — курить началъ по восьмому году, — а глубоко дышалъ отъ расширенія легкихъ, и когда

дышалъ, все раскрывалась, показывалась въ продольную прорѣху вѣрота бурая полоска загара, рѣзко выдѣлявшаяся на мертвенно-блѣдномъ тѣлѣ. Уродливы были его руки: большой палецъ правой руки похожъ на обмороженную култышку, ноготь этого пальца — на звѣриный коготь, а указательный и средній пальцы — короче безымянного и мизинца: въ нихъ было только по одному суставу. Но ловко мнялъ онъ этими тугими култышками волю въ хлюпающей трубкѣ, кашлялъ надрывисто, но даже съ наслажденіемъ какъ будто: „а-ахъ, такъ-то его такъ!“ Хрипучій, неряха, заматерѣлый во всяческихъ порокахъ, въ тридцать лѣтъ казался онъ сорокапятилѣтнимъ мужикомъ. Глядя на него, не вѣрилось, что бываютъ матери у такихъ хрипуновъ и сквернослововъ. Не вѣрилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было вѣрить. Онъ бѣлесъ, широкъ, она — суха, узка, темна, какъ мумія; ветхая панева болтается на тонкихъ и длинныхъ ногахъ. Онъ никогда не разувается, она вѣчно боса. Онъ весь боленъ, она за всю жизнь не была больна ни разу. Онъ пустоболтъ, порой трусливъ, порой, съ кѣмъ можно, смѣлъ, нахаленъ, она молчалива, ровна, покорна. Онъ бродяга, любитъ народъ, бесѣды, выпивки, — сѣмъ, пересѣмъ, лишь бы день перешелъ. А ея жизнь проходитъ въ вѣчномъ одиночествѣ, въ сидѣннѣ на лавкѣ, въ непрестанномъ ощущеніи тянущей пустоты въ желудкѣ и непрестанной грусти, съ которой она уже сроднилась: „Земля забыла меня, грѣшную!“ Единственнымъ оправданіемъ такой забывчивости была, по мнѣнію Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала, — авось, ужъ не

молоденькій, авось, образумится, женится. Нѣжно и сладко туманили ей голову мечты объ этомъ несбыточномъ счастьѣ. А онъ постоянно твердилъ: „Дѣ-вѣку не женюсь! Теперь я — вольный казакъ, а женишься — журишь о женѣ. Да пропади она пропадомъ!..“ Онъ не признавалъ ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мѣшала Анисѣ, помимо избы, еще и та бѣда, что очень слаба была она, да и крива вдобавокъ. Много лѣтъ ходилъ по лавкѣ возлѣ нея, по лавкѣ, на которой провела она столько долгихъ дней, старый черно-золотой пѣтухъ: она сидитъ и думаетъ, подпирая тонкой рукой щеку, скрестивъ подъ лавкой длинныя сизыя ноги, задеревянѣвшія отъ холода и грязи, а онъ похаживаетъ, клюетъ мухъ по мутнымъ, собраннымъ изъ кусочковъ стекламъ. Разъ сунулась она къ окошку, — кто-то фхаль по деревнѣ съ колокольчиками, — а пѣтухъ какъ стукнетъ въ лѣвый глазъ ея! глазъ вытекъ, впалыя вѣки стянуло, осталась одна сѣрая щелочка... Прежде сѣяла она коноплю на огородѣ, брала замашки, мяла пеньку: все былъ доходишко. Но Егоръ и огородъ сдалъ. Прежде на поденщину принимали ее — къ мелкому помѣщику Панаеву, что въ верстѣ отъ Пажени. Да стали обижаться дѣвки, — „старый чортъ работу отбиваетъ!“ — стали наговаривать приказчику, будто все у нея, со-слѣпу, изъ рукъ валится, стали тайкомъ всовывать краденыя изъ барскаго сада яблоки въ тотъ платочекъ, въ который, идя на работу, завязывала она свой завтракъ — горбушку черстваго хлѣба... Съ тѣхъ поръ перестала она набиваться на поденщину.



Замужъ вышла Анисья рано, — рано одна на свѣтѣ осталась: давно сгнили на погостѣ села Знаменья ея батюшка съ матушкой, да не только они, а, небось, и дощатые гробы, коленкоровые покровы, лапти и замашные рубахи ихъ. Любить Анисья въ молодости некого было. Но и не любить не могла она. Съ несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущеннаго двороваго, — и любила его долго, терпѣливо, затѣмъ, что, скинувъ вскорѣ послѣ свадьбы отъ побоевъ, долго лишена была возможности на дѣтей перенести свою любовь. Во хмелю Миронъ бывалъ жестокъ и буенъ. Дѣло извѣстное: трезвый ребенка не обидитъ, а напьется — святыхъ вонъ выноси. Бьетъ стекла, буянитъ, гоняется за сыномъ и женой съ дубинкой. „Ну, опять у Минаевыхъ крестный ходъ пошелъ! — говорили сосѣди, радуясь такой забавѣ. — И веселый же дворъ, ей-Богу!“ Разъ укрылась она въ барскомъ домѣ, у Панаевыхъ, — онъ не побоялся вскочить и туда: поймалъ ее въ прихожей, сшибъ съ ногъ и за косу проволокъ по крыльцу, за ворота... Когда нехотя просилъ онъ прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: „Что жъ, надъ тобой же будутъ люди смѣяться, если калѣкой меня сдѣлаешь!“

Все же, послѣ смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьемъ Анисьи. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нея; былъ мужъ, были дѣти, были радости и горести — все какъ у людей. По застѣнчивости, не хвалилась она прошлымъ, не навязывалась никому съ разговорами о немъ. Двадцать лѣтъ тому



назадъ замерзъ Миронъ, — пьяный, ни съ того ни съ сего, увязался за чужимъ обозомъ въ Ливны, — и много ночей провела она безъ сна, сидя въ темной избѣ на коникѣ, вспоминая и думая; но никто не узналъ ея думъ. Всѣхъ дѣтей оплакала она горькими слезами, но оплакала тайкомъ, въ одиночествѣ и рѣдко-рѣдко вспоминала о нихъ на-людяхъ. Нищета, разорившая до тла ея дворъ, часто заставляла ее кланяться сосѣдямъ, просить у нихъ помощи ради сироты-сына, пока малъ онъ былъ; но никогда не насмѣливалась она напоминать людямъ, что въ былое время помогала и она имъ. И вышло такъ, что въ Пажени никому и не вѣрилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть въ старости, за сыномъ. Мужикъ онъ вышелъ добрый, — на словахъ только безстыжъ и горячъ, не то, что отецъ покойникъ. Руки у него золотыя, говорила она, еще какъ жили-то бы, не брось онъ дома! Да скучно ему въ Пажени, — привыкъ къ народу, къ городу. Ну, а подавать въ домъ издали, — этого рабочій человѣкъ, извѣстно, не любить...

— Рабочій! Хорошъ рабочій! — съ негодованіемъ возражали ей сосѣди. — Ярыга онъ, болѣ ничего.

И Анисья смолкала, не то соглашаясь, не то думая какую-то свою собственную думу. Губы ея были сжаты, лицо смиренно. Голова же, какъ всегда, кружилась отъ голода.

Нынѣшней зимой даже Пажень удивилъ Егоръ: всего могли ждать отъ него, но только не того, что вдругъ бросить онъ свое дѣло и ни съ того ни съ чего, — вотъ какъ Миронъ за чужимъ обозомъ, — уйдетъ, всѣмъ на посмѣшище, въ золотари въ Москву. Но и въ Москвѣ пробылъ онъ безъ-году

недѣлю. Думала порой Анисья, въ самое сердце пораженная вѣстью объ его уходѣ, что, быть-можетъ, ради ея вѣчнаго голода, ради хорошаго заработка, съ затаенною цѣлью поправить свою жизнь ушелъ Егоръ. Но вотъ онъ внезапно вернулся, — оборванный, безъ копейки денегъ; ночевалъ три ночи дома, но и двухъ словъ путныхъ не сказалъ ни съ сосѣдями ни съ матерью, — былъ какой-то, хоть и не скучный, а разсѣянный; даже не сумѣлъ объяснить толкомъ, зачѣмъ шатался въ Москву, — сказалъ только: „да ай велика бѣда?“ — и опять исчезъ. А ей двѣ ночи подъ рядъ снилось, что онъ повѣсился, у нея губы почернѣли отъ горя...

Въ маѣ нанялся Егоръ — караулить Ланское, лѣсъ помѣщика Гурьева, что отъ Пажени верстахъ въ пятнадцать. Ланское нѣсколько лѣтъ тому назадъ вырубилъ, можно было и не нанимать для него караульщика. Но Гурьевъ подумалъ, подумалъ и взялъ Егора: на него нападаетъ порою хозяйственность. Положили однако Егору немного: только отвѣсно, да три рубля въ мѣсяцъ. А что такое для бездомнаго человѣка три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватаетъ: поминутно, будучи въ селѣ, заходишь то въ ту, то въ эту избу, а зайдя, посидѣвъ, поболтавъ для видимости, открываешь заслонку и поясь залѣзаешь въ печку — поискать въ золѣ горячихъ угольковъ... И, нанявшись, Егоръ совсѣмъ пересталъ помогать матери.

Въ Петровки, доѣвъ послѣднюю корку занятаго съ великимъ трудомъ хлѣба, рѣшилась она наконецъ побывать въ Ланскомъ, повидаться съ сыномъ, провѣдать его, а главное, хоть малость подкрѣпиться. Доѣдала она хлѣбъ съ большой осторож-

ностью — и какъ-то сразу очень ослабѣла. Не въ мѣру стало клонить въ сонъ, рябить въ глазу, звенѣть въ ушахъ; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поѣсть чего-нибудь горячаго, съ солью. Боязно было сказать себѣ: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожія, съ Каменки. Зашли онѣ напиться — старушка и молодая; ходили въ Гурьево, поминать умершаго: въ Каменкѣ попъ боленъ, не служить. Старушкѣ умершій былъ сыномъ, молодой — мужемъ. И вотъ всѣ трое разгрустились, разговорились о своей женской долѣ, о мужьяхъ, сыновьяхъ. Молодая, — крупная, съ большимъ блѣднымъ лицомъ и большими сѣрыми глазами на выкатъ, хорошо и нарядно одѣтая — въ новую корсетку изъ коричневой сермяги, со сборками назади, въ красную шерстяную юбку и полсапожки, съ черной бархаткой, украшенной бѣлыми пуговками, на шеѣ. — та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, въ мягкихъ чункахъ, какъ богомолка, устало-оживленная, говорила безъ умолку, а молодая за все время только разъ, просто и не спѣша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запаматовала городъ, куда угнали въ солдаты ея меньшаго сына.

— Три недѣли тому назадъ схоронили, сударушка, — ласково говорила старушка Анисѣ, немного стыдившейся своей бѣдности и слабости. — Съѣздилъ въ городъ, былъ ужасный веселый, а пріѣхалъ домой, погналъ лошадей въ ночное, двухъ десятинь до Щедринскаго хутора не догналъ, — мы черезъ Щедрина, черезъ его поле скотину-то гоняемъ, — воротился. Пришла я съ холстами, вижу, лежитъ онъ на печи, полушубкомъ накрылся... „Умираю,

говорить, мамашъ, заболѣлъ я. Погналъ вчера съ въ ночное, двухъ десятинъ до Щедринскаго рубежа не догналъ — понесло на меня въ родѣ какъ холодомъ, ознобомъ, насилу назадъ дошелъ, ноги подламываются...”

Анисья вздохнула, и на глазъ ея навернулась слеза. „Дитя-то, хоть криво, а матери рѣдной все мило, — подумала она и вздохнула отъ грустной нѣжности къ сыну. — Пойду, была не была, авось не чужая“... А старушка продолжала, вытирая углы тонкихъ, сморщенныхъ, стянутыхъ въ оборочку губъ худыми твердыми пальчиками:

— Чтò тутъ, ягодка, дѣлать? Дала я ему двѣ просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съѣшь, говорю, сынокъ, може, полегчаетъ. На третій день онъ и кличетъ меня: „Мамашъ, добрѣ нынче день хорошъ, поведите меня, а то тутъ, въ избѣ, духъ чижелый“. Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — овцу стричь. Немного годя, приходимъ, а онъ ужъ и голову уронилъ, едва дышитъ: раньше лицо красная, какъ сукно, была, а тутъ ужъ ото лба бѣлѣть стала. Приподняли мы его, а онъ ужъ кончился. Не дождался, значить, насъ...

И Анисья задумалась. Растроганная бесѣдой, умиленная материнской нѣжностью, материнскими горестями, стала она совѣтоваться съ прохожими, какъ ей быть: итти или нѣтъ? Если ужъ итти, такъ не лучше ли съ умомъ итти: не затѣмъ только, чтобы провѣдать, а чтобы на все лѣто остаться? Вонъ, говорятъ, онъ теперь отвѣсное получаетъ; а вѣдь при отвѣсномъ и она прокормится, — авось не объѣстъ, много ей и надо-то...

Старушка сказала:



— Да вѣдь какъ сказать? — не угадаешь, какъ лучше, сударушка. Мой-то Тихонъ не примѣръ другимъ. Ужъ такой степенный былъ, одинъ въ свѣтѣ разумный и задумчивый! А послышишь кругомъ, — правда, не тѣ сыновья нонѣ пошли, не чета моему, вѣроломные... Ну, а все-таки я бы пшла. Мой сгадъ — иди.

— Онъ не можетъ не кормить матери, — прибавила молодая.

И Анисья повеселѣла.

— Ну, инъ, пойду, — сказала она нерѣшительно. — Вѣдь онъ только скучливъ у меня, а никто плохого не скажетъ, — не драчунъ, не пьяница. Вотъ только дома не любить сидѣть... А мнѣ голодно, да и скука съѣла. Иной разъ думаешь: хотъ бы захворалъ, что ли, все бы дома пожилъ... Мужикъ онъ добрый, да, конечно, рабочій чловѣкъ, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешъ, думается, а онъ ну-ка обидится, облаетъ, обусурманить...

Проводивъ прохожихъ, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать чтѣ? Но все богатство ея состояло въ старой укладкѣ, гдѣ хранился единственный подарокъ Егора, — платокъ, купленный въ монастырской лавкѣ въ Задонскѣ, большой бѣлый коленкоровый платокъ, весь усеянный черными черепами, сложенными крестъ-накрестъ черными костями и черными надписями: „Святый Боже, святыи крѣпкій“... Грѣхъ продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принесть Егоръ свой подарокъ съ искреннимъ желаніемъ порадовать мать, выпивши... Ну, да самъ же и виноватъ онъ, Егоръ-то, — думала она, — забылъ мать, до крайности довелъ. А Богъ милостивъ, Онъ видитъ



нужду: похоронять и безъ платка, съ бѣдной старухи на томъ свѣтѣ не взыщется... И пошла продавать платокъ. Тонетъ въ хлѣбахъ, въ лознякѣ Паженѣ. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаментѣ, подъ желѣзной крышей, съ разноцвѣтными мальвами, съ палисадникомъ. Въ воскресенье пошла Анисья къ Абакумову. Абакумовъ зорко оглядѣлъ платокъ своими татарскими глазками, кликнулъ мать, сумрачную, толстую, отекающую старуху въ ватной кофтѣ и валенкахъ.

— Что жъ просишь? — медленно выходя изъ избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, непривѣтливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платокъ, показывать товаръ лицомъ — накинула его на плечи, прошлась. Абакумовъ, подумавъ, положилъ „два орла“ — гривенникъ; потомъ, усмѣхнувшись, прибавилъ еще пятакъ — „за манеру“. Анисья покачала головой и пошла домой, даже не снявъ съ себя платка. А дома, сидя въ этомъ траурномъ нарядѣ на лавкѣ, долго разглядывала его концы своимъ единственнымъ глазомъ, что-то обдумывая. Потомъ облокотилась на столъ, уже ничего не думая, а только слушая звонъ въ ушахъ... Въ пазахъ стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла съ полгорсти, съѣла. Потомъ спрятала платокъ въ укладку, легла на большія голыя нары возлѣ большой, треснувшей и давнымъ-давно не топленной печки, когда еще не смерклось путемъ, говоря себѣ: надо поскорѣе заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше, да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумавъ всю ночь сквозь сонъ что-то тревожное, неотступное, просучивъ ногами, — жгли ихъ блохи, жилили мухи, — заснула она крѣпко лишь подъ утро. Проснулась, когда ужъ ободнялось — и болѣзненно обрадовалась дню, тому, что она жива, идетъ въ Ланское, начинаетъ какую-то новую, можетъ-быть, хорошую жизнь... Богъ милостивъ — чувствовать себя на бѣломъ свѣтѣ, среди людей, видѣть утро, любить сына, итти къ нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь въ сѣнцахъ однозубымъ рогачомъ, воткнувъ его въ землю, нашла въ углу палку, испачканную воробьями, перелѣзла черезъ обвалившуюся стѣну... По зеленому выгону, возлѣ пруда, къ которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными сѣрыми полосами лежали бѣлившіеся холсты. Машка Бычокъ, конопатая, здоровая дѣвка, наваливъ по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конецъ коромысла, шла навстрѣчу, вся виляясь, мелко перебирая бѣлыми крѣпкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава Богу, съ полнымъ навстрѣчу...

Весь май, весь іюнь перепадали дожди. Хлѣба и травы въ нынѣшнемъ году чудесные. Путаясь худыми ступнями и паневой по межамъ, заросшимъ травой и цвѣтами, мѣряя палкой стежки среди ржей, овсовъ и гречи, радовалась, по привычкѣ, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы отъ урожаявъ. Ободнялось, дулъ вѣтеръ съ юга. Ржи были густы, высоки, зыблились, лоснились, какъ дорогой куній мѣхъ; только кое-гдѣ синѣли васильки въ нихъ. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблемъ овсы. Клины цвѣтущей гречи молочно розовѣли.

День былъ облачный, вѣтеръ дулъ мягкій, но сильный, — усыплялъ пчелъ, мѣшалъ имъ, путалъ ихъ, сонно жужжащихъ, въ ея кустистой заросли, обдавалъ порою запахомъ грѣтаго меда. И то ли отъ вѣтра, то ли отъ этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить путь, но, когда миновала панаевскія лощины и выбралась на противоположную гору, вышла въ чистое поле, откуда далеко видно, — вплоть до станціи, до элеватора на горизонтѣ, — сообразила, что дала крюку.

Съ самаго выхода изъ-дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егоръ, заста-нетъ ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться съ мыслями. Теперь двѣ горлинки, шагахъ въ десяти другъ отъ друга, по одной линіи, мелко и споро бѣжали передъ нею вдоль аспидной дороги и мѣшали думать. Она долго приглядывалась, не могла, пока онѣ не поднялись, понять, чтò это такое: горлинки совсѣмъ подъ цвѣтъ дороги, только спинки у нихъ съ брусничнымъ отливомъ. Онѣ женственно и граціозно сѣменили, потомъ легко взлетѣли, распутивъ сѣрые хвосты съ бѣлой каемкой, и опять сѣли, опять побѣжали. Анисья махнула на горлинокъ палкой: затрепеталъ легкій свистъ крыльевъ, но не прошло и минуты, какъ опять увидала она горлинокъ, бѣгущихъ быстро и однообразно. Онѣ мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нѣжной привязанностью другъ къ другу. Сколько лѣтъ ея черно-зеленой, клѣтчатою паневъ, грязной, истлѣвшей на высохшемъ тѣлѣ рубахѣ, темному, въ желтомъ горошкѣ, платку? Старость, худоба, горе такъ не идутъ въ красотѣ горлинокъ, цвѣтовъ, плодо-

родно-зеленой земли, забывшей ее, нищую старуху, — и она бользненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинокъ. Горлинки взлетѣли — и она постояла, выждала, пока онѣ скрылись...

Она бодрилась, но клонило въ сонъ. Итти по убитому колесами проселку еще легче, чѣмъ по мягкимъ стежкамъ, ступать босыми ногами по теплой землѣ такъ сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями мельницы. Взглянешь — исчезнуть, отвернешься — опять машутъ... А поднимешь глазъ на облачное небо — плыветъ, плыветъ стеклянный червячокъ, плывутъ стеклянныя мушки, и никакъ не поймашь, не удержишь ихъ на мѣстѣ: только остановишь взглядъ, а червячокъ ужъ соскользнулъ куда-то — и опять плыветъ кверху, скользитъ, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шагъ и переводила духъ: „Ой, не дойду я, двужилъная! Потихе надо...“ И опять шла, и опять, сама того не замѣчая, начинала спѣшить...

Теплый вѣтеръ, дувшій съ юга, въ бокъ, несъ надъ престоромъ сѣро-зеленыхъ равнинъ пѣсни жаворонковъ, аромат цвѣточной пыли. Мягко, густо и нѣжно синѣли дальнія деревни, перелѣски. Вонъ въ далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и ужъ давно забытаго села. Вонъ налѣво, еще дальше, за воргольскими лугами — бѣдныя степныя деревушки: Каменка, Сухіе Броды, Рябинки... Небо загромаждали огромныя, но легкія и причудливыя, лилово-дымчатыя облака. Они собирались по горизонтамъ въ синеватыя тучки, и туманно-голубыми полосами опускался изъ нихъ дождь. А невидимыя мельницы



все махали и махали крыльями даже и въ этихъ полосахъ... Развѣ лечь, подремать? Но нѣтъ, нельзя: послѣ отдыха еще труднѣе итти и работать, она хорошо знаетъ это по долгому опыту. Да вонъ и ѣдетъ кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся въ мѣдныхъ бляхахъ, въ дорогой наборной сбруѣ, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнѣдой коренникъ, высоко задравъ голову, шелъ шагомъ, темно-орѣховыя пристяжныя, изгибая лоснящіяся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищутивъ глаза, завалившись въ задокъ тарантаса, лѣнился молодой кучеръ, въ плисовой безрукавкѣ, въ соловой рубахѣ, въ городскомъ картузѣ, въ замшевыхъ рукавицахъ... Какой-то особый видъ у этихъ гладкихъ, барскихъ лошадей, какой-то особый вкусный запахъ у этихъ тарантасовъ: мягкой кожи, лакированныхъ крыльевъ, теплой колесной мази, перемѣшанной съ пылью... А вотъ начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. Отъ тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горохъ, проводила глазомъ приподнятый задокъ тарантаса... Да нѣтъ, горохъ еще и не наливался. Кабы налился, наѣлась бы досыта — и не увидалъ бы никто! И, сморщивъ лицо, поглядѣла Анисья на небо, туда, гдѣ чувствовалось за болѣе свѣтлыми и теплыми облаками солнце: должно, ѣдетъ кучеръ къ часовому поѣзду на станцію, — у людей обѣды на дворѣ...

Она забыла о мельницахъ — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная бѣлыми цвѣтами, бѣжала ей подъ ноги, бѣлыя точки цвѣтовъ дрожали. А гдѣ-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали другъ друга звонкіе бабы



голоса. Она ясно слышала каждый изъ нихъ, даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ слѣдила за ихъ измѣненіями, скороговорками, вскричиваніями. Но вниманія на нихъ не обращала, — дѣло привычное слушать эти несуществующіе голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи въ силахъ собраться подумать о Егорѣ: думала то о мукѣ какой-то, у кого-то когда-то занятой да такъ и не отданной, то о томъ, что вчера у сосѣдки теленокъ сжевалъ весь подолъ рубахи, висѣвшей на плетнѣ, то о своей близкой смерти... Да, вотъ прудъ въ Пажени мелокъ и грязенъ, а гляди-ка сколько птицы развела панаевская приказчица! Всѣ берега въ пуху и перьяхъ. Стережетъ птицу Фроська, дочь Аверьки-побирушки... Что бы нанять, замѣсто нея, старого, разумнаго человѣка! Да вотъ поди жъ, — нѣтъ догадочки. Бить некого будетъ, старуху-то постыдилась бы... „Постыдилась бы, постыдилась бы!“ — звонко кричали несуществующія бабы. — „Надо сѣсть“, — отвѣчала имъ Анисья мысленно, и все дожидалась кѣмъ-то назначеннаго для отдыха мѣста. Кѣмъ оно назначено? Богомъ? „Нѣтъ, сыномъ, Егоромъ!“ — крикнуть кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по межѣ и во рву подъ межою — всюду пестрѣли цвѣты. Чувствуя, что не добиться ей до назначеннаго мѣста, Анисья сѣла на первое попавшееся. Бабы смолкли. „Хорошо!“ — подумала она. И съ задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цвѣты; нарвала, набрала въ свою темную грубую руку большой пестрый пукъ, нѣжный, прекрасный, пахучій, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только къ ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горохъ, пере-

путанный съ алымъ мыпинымъ горошкомъ. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, какъ тотъ стеклянный червячокъ, по воздуху. Вонъ вдали, въ горохѣ, шалашикъ для сторожа, пока еще пустой: залѣзть бы въ него и — спать... Вѣтеръ несъ надъ полями убаяживающія трели жаворонковъ. Убѣгала въ степь сѣро-аспидная дорога, убѣгала вслѣдъ за нею и высокая, зеленая межа. Больше всего росло на межѣ мелкихъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Но не мало было и ромашки, золотой куриной слѣпоты, бархатисто-лиловыхъ медвѣжьихъ ушекъ, малиноваго клевера. Прикрывая глазъ, Анисья щипала остинки то изъ медвѣжьихъ ушекъ, то изъ клеверныхъ шапочекъ: тошнило, пекло губы, а въ остинкахъ были свѣжія капельки горькаго меду. Вдругъ сердце замерло, — холодомъ облила голову, отняла плечи, заныла въ нихъ и по всему тѣлу прошла та жуткая, какъ бы предсмертная, тошная волна, что накатывается на человѣка, высоко вознесшагося на качеляхъ, вдругъ сорвавшагося и летящаго внизъ. Волна прошла и отхлынула, но вслѣдъ за нею потемнѣло въ глазу отъ страха: ой, а ну-ка умрешь въ полѣ? Не кстати это будетъ, не ладно и не то, что въ избѣ — куда страшнѣе! Переломивъ слабость, вскочила Анисья съ межи, съ примятаго во влажной травѣ мѣста, и почти побѣжала.

Исчезло все дурманящее. До дрожи въ рукахъ и ногахъ захотѣлось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье... Да развѣ случается когда-нибудь то, чего сильно, жадно хочется? Всѣмъ существомъ ея овладѣла тревога, нетерпѣніе, сразу прибавившее силы, а вмѣстѣ съ нетерпѣніемъ — страхъ, предчувствіе: нѣтъ, ни за что не застанешь! За горохомъ пошли пары. Мужики пахали

ихъ. Она слабо крикнула, вѣрно ли, что влѣво поворотъ въ Гурьево, а направо въ Ланское? „Въ Ланское!“ — тоже крикомъ отозвался большой бо-сой старикъ, разстегнувшій подъ своей первобытно-густой бородищей воротъ длинной рубахи, подоплека которой чернѣла отъ пыли и пота. — „А напиться, рѣдкий, нечего?“ Онъ, шатаясь, оступаясь въ бороздѣ, подошелъ въ это время съ сохой къ межѣ и, обивая блестящую палицу о подвой, остановился. „Можно“, — сказалъ онъ. Она подняла съ межи кувшинъ, заткнутый шапкой, и припала къ водѣ, косясь на ступни старика. Онъ былъ страшенъ, похожъ на лѣшаго или болотнаго: огромная голова, зеленовато-желтыя кудлы, такая же борода, фіолетовое конопатое лицо и совсѣмъ зеленые глаза, свирѣпо сверкавшіе изъ-подъ косматыхъ и рѣдкихъ бровей; ступни же его — цвѣта свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — рѣдкой доброты чело-вѣкъ... Она напилась, хотѣла спросить, нѣтъ ли хлѣбушка, — и не смогла, не сумѣла. Да и ѣсть ей не хотѣлось...

Теперь она вспомнила мѣста. Оставалось до Ланского версты двѣ, и она не спускала глаза съ большого дерева, одиноко бѣлѣвшаго стволомъ среди моря выколосившейся пшеницы близъ лѣсной опушки, — со старой березы, живописно круглившейся своей вершиной, серебристой отъ вѣтра, на облачно-дымчатомъ небѣ. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарникъ — темно-зеленый. Мѣсто тутъ степное, ровное, кажется очень глухимъ: ничего не видишь, кромѣ неба и безконечнаго кустарника, когдаходишь въ Ланское. Вездѣ буйно заросла земля, а ужъ тутъ прямо непролазная чаща. Травы — по-поясъ; гдѣ кусты —

не прокосишь. По-поясъ и цвѣты. Отъ цвѣтовъ — бѣлыхъ, синихъ, розовыхъ, желтыхъ — рябитъ въ глазахъ. Цѣлыя поляны залиты ими, такими красивыми, что только въ березовыхъ лѣсахъ растутъ. Собирались тучи, вѣтеръ несъ пѣсни жаворонковъ, но онѣ терялись въ непрестанномъ, бѣгущемъ шелестѣ и шумѣ. Еле намѣчалась среди кустовъ и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спѣшила, спотыкаясь, путаясь въ цвѣтахъ и травахъ. Вотъ и караулка. Но виситъ на ея дверкѣ большой рыжій замокъ. И увидавъ его, Анисья вдругъ сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бѣгу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мѣшали видѣть. И она остановилась, всхлипнувъ отъ жалости къ себѣ, вытерла грязнымъ рукавомъ бѣдное, измученное лицо свое... Кругомъ — полынь, лопухи, крапива, въ крапивѣ — нищая избенка безъ крыши. Изъ лопуховъ вылѣзъ кобель, черно-сѣдой, сѣроусый, съ гноящимися глазами, съ обрубленнымъ хвостомъ и обрубленными, въ кровь разѣденными всякой мошкаррой ушами. Онъ насторожилъ, поднялъ эти обрубки и глухо забрежалъ — какимъ-то особымъ, лѣснымъ брехомъ. Она стала и не двигалась съ мѣста, глохла отъ стука собственного сердца. Кобель поглядѣлъ на нее — и смолкъ, отвернувшись. И долго оба стояли въ нерѣшительности: онъ не зналъ, продолжать ли брехать, она — подходить ли? — Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумалъ и брехнулъ еще разъ. Потомъ опустилъ свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстымъ, короткимъ хвостомъ, онъ подошелъ



къ Анисѣ, глянулъ въ ея глазъ. „Э, да и ты стара!—равнодушно сказалъ его взглядъ.—Ну, намъ съ тобой дѣлать нечего... А Егора нѣту“... И, отойдя, кобель разсѣянно поднялъ заднюю ногу на кустъ мелкихъ ярко-желтыхъ цвѣтовъ и, не сдѣлавъ ничего, легъ, раскрылъ, по привычкѣ, пасть и часто задышалъ, мотая головой, отбиваясь отъ липнущей къ уху сѣро-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругомъ. Бѣжалъ по кустамъ шелковистый шумъ и шорохъ, однообразно и хрустально звенѣла въ нихъ овсянка, жалостно цокали и перелетали съ мѣста на мѣсто, съ былинки на былинку сѣренкїя чеканки, точно ища и все не находя чего-то. Въ бѣленѣ, полины, малиновыхъ татаркахъ, въ непомѣрно разросшихся лопухахъ и высокой, дремучей гущѣ темно-зеленой крапивы торчалъ искривленный, голый верхъ обваливагося погреба. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вмѣсто крыши, росъ по ея потолку высокій блѣдно-серебристый бурьянъ... Шатаясь, плача, шурша по лопухамъ, Анисья подошла къ дверкѣ, пошарила по притолкѣ, — нѣтъ ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка, — онъ, конечно, былъ не запертъ, — и потянула за скобку, перешагнула высокій порогъ...

Бѣсть—объ этомъ даже думать не хотѣлось. Все плыло вокругъ нея, смутно и горячо разговаривало. Черезъ силу она осмотрѣлась все-таки—и убѣдилась, что нигдѣ нѣтъ ни единой крохи хлѣба. Потомъ, положивъ пукъ увядшихъ цвѣтовъ на кое-какъ сбитый изъ старой доски и свѣжихъ березовыхъ кольевъ столикъ, косо стоявшій въ углу на ухабистой синей землѣ, сѣла на лавку воздѣ столика и безъ движенія просидѣла до самаго вечера. Она



тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти, — сонно глядѣла на гнилыя стѣны, на полуразвалившуюся печку. Слабый свѣтъ проникалъ въ окошечко надъ столикомъ. Дальше, гдѣ было другое, безъ рамы, заткнутое полушубкомъ, клоками грязной овчины, сгущался сумракъ. Въ сумракъ прыгали по землѣ маленькія лягушки.

— Либо мнѣ мерещится? — подумала Анися — и приглядѣлась: нѣтъ, не мерещится, самыя настоящія лягушки...

Весь потолокъ прорасталъ грибами — часто висѣли они, тонкіе стеблемъ, какъ ниточки, внизъ бархатистыми шляпками, — черными, траурными, коралловыми, — легкими, какъ тряпочки, обращавшимися въ слизь при малѣйшемъ прикосновеніи. Развѣ этой слизи поѣсть? Нѣтъ, помрешь — и растащутъ тогда сосѣдушки избу въ Пажени по бревнышку... А больше ѣсть нечего. Махоточка стояла на подоконникѣ, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: въ махоточкѣ загудѣла большая страшная муха, изъ тѣхъ, что любятъ мертвыхъ; поднесла дощечку къ глазу, стала разглядывать: такъ и есть, образокъ. Грѣховодникъ Егоръ, за то-то и не даетъ ему Богъ счастья! Она перекрестилась, съ трудомъ поднявъ руку, поцѣловала дощечку и положила ее на столикъ; подумала, вспомнила, что умираетъ, — и еще разъ перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохѣ и особенно медленныхъ, истовыхъ движеніяхъ руки всю покорность свою Богу, все свое благоговѣніе передъ славой и силой Его, все надежды свои на Его милосердіе... На загнеткѣ раскрытой печки, на кучѣ золы лежала сковородка съ присохшими къ ней корочками яичницы: видно, Егоръ изъ птичьихъ яицъ дѣлалъ, — скорлупа-то

возлѣ сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чѣмъ спасается, батюшка, въ родѣ хорька живетъ! Все сильнѣе клонило въ сонъ, въ бредъ, бѣжала подъ ноги дорога вмѣстѣ съ тройками и горlinkами... Анисья откидывала назадъ голову — и на минуту приходила въ себя, прогоняла видѣнія и ту тревожную зыбкость, въ которую все глубже погружалась она. Вѣтеръ сонно и глухо шуршалъ вокругъ стѣнъ, въ крапивѣ, проносился по бурьяну на потолкѣ. Въ окошечко виднѣлись сонно качающіяся верхушки кустовъ — блѣдныя на мѣловато-свинцовомъ фонѣ тучъ. Темнѣло, наступалъ вечеръ...

Она понимала, что заходитъ дождь, шумитъ вѣтеръ, доноситъ однообразно повышающійся и понижающійся звонъ кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и... Гдѣ-то томно кричали молодые грачи: тоже къ дождю, къ вечеру... Но, все понимая, она спала, спала — и умирала, и воображеніе ея, чуждое ей, неудержимо работало. Ахъ, да вѣдь Егоръ идетъ на ярмарку, — надо догнать его! И она видѣла ярмарку. Тамъ гомонъ, говоръ, скрипъ телѣгъ, ржаніе лошадей, народъ валитъ валомъ — и все пьяный, страшный; бьетъ, гремитъ оркестріонъ на каруселяхъ, кругомъ летятъ на деревянныхъ коняхъ дѣвки въ красныхъ баскахъ и ребята въ канареечныхъ рубашкахъ — и отъ этого тошнить, тошнить, мутить... Жарко, тяжело, а Миронъ, молодой, веселый, со сдвинутой на затылокъ смушковой шапкой, продирается къ ней черезъ толпу, несетъ цѣлый узелъ гостинцевъ — рожковъ, сусликовъ, жамокъ — и не даетъ допить бутылку квасу, только-что откупоренную квасникомъ, старикомъ, пахавшимъ паръ; Миронъ кричитъ: „запрягай скорѣй, надо Егорку догнать!..“ Вотъ какой ты,

Миронъ, говоритъ она ему, никогда-то не жалѣлъ ты меня въ молодости, а теперь вотъ и смерть пришла... въ полѣ вѣтеръ, тучки, дождь мелкій, дѣвки картошки копаютъ, — нѣтъ, Миронушка, видно, надо лечь поскорѣй... Какъ лунатикъ, шатаясь, шепча, поднялась Анисья съ лавки, вытянула изъ окошка полушубокъ, свернула, кинула на лавку, въ изголовье... Въ тазу ныло и дрожало, сердце такъ замирало, что, казалось, поминутно виснеть она въ воздухѣ, что нѣтъ у нея ногъ, есть только туловище, какъ у того страшнаго солдата, что чернѣетъ на избѣ въ Пажени. Поспѣшно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глазъ. Лавка полетѣла въ пропасть, но картины, осаждавшія воображеніе, стали путаться, меркнуть...

Она спала, умирая во снѣ. Лицо ея, лицо муміи, было спокойно, безстрастно. Прошелъ дождь, вечернее небо очистилось, въ лѣсу, въ поляхъ все смолкло. Вечерній мотылекъ трепетно-беззвучно поплылъ въ воздухѣ. Стали видны въ сумракѣ по землѣ только бѣлые цвѣты. Сзади караулки мелкимъ красивымъ узоромъ чернѣ зеленѣли верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше въ прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Противъ караулки, на безцвѣтномъ, пепельномъ небѣ стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая свѣта. И глядѣла она прямо въ окошечко, возлѣ котораго лежалъ не то мертвый, не то еще живой первобытный человѣкъ. Въ другое, безъ стекла, безъ рамы, дулъ теплый вѣтеръ...

## II

Егоръ въ дѣтствѣ и отрочествѣ былъ то лѣнивъ, то живъ, то разсѣянъ, то внимателенъ, то смѣшливъ, то скученъ — и всегда очень лживъ, безъ всякой надобности. Разъ онъ нарочно обѣлся бѣлены — насилу молокомъ отпоили. Потомъ взялъ манеру болтать, что удавится. Старикъ-печникъ Макаръ, злой, серьезный пьяница, услыхавъ однажды брехню Егорки о смерти, поглядѣлъ на него и вымолвилъ:

— А вотъ, ежели ты, дьяволенокъ, не отвѣтишь мнѣ сейчасъ, почему такое забралъ ты себѣ эту штуку въ голову, я тебя на мѣстѣ пришибу!

И Егорка вдругъ вспыхнулъ, живо почувствовалъ, что вѣдь это, и правда, не шутка, смерть-то, что, и правда, нужно понять и отвѣтить, почему залетѣла ему въ голову мысль о ней. И, подумавъ, смущенно и неумѣло попытался высказаться:

— Да ай я знаю, почему... Живешь, живешь... А иной разъ дѣться не знаешь куда... Весь въ родѣ какъ раздребезженный какой. .

Макаръ далъ ему подзатыльникъ, и Егорка кинулся, какъ ни въ чемъ не бывало, мѣсить ногами глину. Но черезъ нѣкоторое время сталъ болтать о томъ, что удавится, еще хвастливѣе. Ничуть не вѣря тому, что онъ давится, онъ однажды таки выполнилъ свое намѣреніе: работали они въ пустомъ барскомъ домѣ, и вотъ, оставшись одинъ въ гулкомъ большомъ залѣ съ залитыми известкой поломъ и зеркалами, воровски оглянувшись онъ, въ одну минуту захлестнулъ ремень на отдушникѣ — и, закричавъ отъ страха, повѣсился. Вынули его изъ петли безъ чувствъ, привели въ себя и такъ отмотали голову, что онъ ревѣлъ, захлебывался, какъ двухлѣтній.



И съ тѣхъ поръ надолго забылъ и думать о петлѣ.

Онъ росъ, входилъ въ силу, становился мужчиномъ, хворалъ, пьянствовалъ, работалъ, болталъ, шатался по уѣзду, только изрѣдка вспоминая о заброшенномъ дворѣ и о матери, которую почему-то называлъ своей обузой; жизнь, какъ ни безтолково моталъ онъ ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда онъ говорилъ: „бѣлый свѣтъ не милъ мнѣ!“—то ему и въ голову не приходило, что есть тутъ связь съ его мальчишеской болтовней о самоубійствѣ. И такъ онъ дожилъ до тридцати лѣтъ, до той зимы, когда ни того ни съ сего ушелъ онъ въ Москву, связавшись нечаянно съ отправлявшимися туда золотарями.

Изъ Москвы возвращался онъ пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелѣпость своей поѣздки и какъ бы готовясь къ тому отпору, который онъ дастъ всякому, кто будетъ называть его золотаремъ, онъ до копейки пропился въ дорогѣ, вылѣзая на каждой станціи и нахально проталкиваясь въ толпѣ къ буфету. И вотъ тутъ-то, сидя въ мотающемся, мутномъ отъ дыма вагонѣ, онъ, чуть ли не впервые послѣ исторіи въ пустомъ барскомъ домѣ, сталъ опять болтать то, что болталъ когда-то, сталъ доказывать сосѣдямъ по лавкѣ, мужикамъ-пильщикамъ, что онъ долженъ удавиться. И опять никто не далъ вѣры его словамъ, и опять, проспавшись, забылъ онъ о своей болтовнѣ.

Дома, въ родныхъ мѣстахъ, послѣ Москвы, послѣ той непривычной жизни, которой жилъ онъ тамъ, послѣ пьянства и возбужденія въ дорогѣ, все показалось ему такъ буднично, что у него

даже пропала охота отбредиваться отъ насмѣшливыхъ разспросовъ, зачѣмъ это путешествовалъ онъ въ Москву. Видъ своего разрушающагося двора, видъ сильно измѣнившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери не произвелъ на него никакого впечатлѣнія. Нехотя проживъ дома трое сутокъ, пошелъ онъ въ Гурьево, на барскій дворъ — проситься въ караульщики въ Ланское. Былъ солнечный мартовскій день, дорога сперва таяла, потомъ, — когда солнце склонилось на безоблачномъ небѣ къ закату и золотой слюдой заблестѣли подъ нимъ снѣжныя поля, а къ юго-востоку позеленѣла легкая и прозрачная даль, — стала дорога подмерзать, пріятно хрустѣть подъ лаптями, и пріятно, покойно, въ ладъ съ этимъ долгимъ, яснымъ и покойнымъ днемъ, чувствовалъ себя и Егоръ. Онъ поднялся на изрѣзанную ледяными колеями блестящую гору въ селѣ, вошелъ на барскій дворъ. Солнце мирно, уже повесенному, догорало противъ него, за рѣкою; повесенному возились и трещали воробьи въ золотисто-зелено-сѣрыхъ прутьяхъ, въ кустахъ сирени возлѣ барскаго дома, четко рисовавшагося бѣлизной стѣнъ и бурой желѣзной крышей на зеленоватомъ небѣ. На крыльцѣ стояла горничная и вытряхивала самоваръ. Господъ дома нѣту, сказала она, въ городъ уѣхали; не то пріѣдутъ нынче къ вечеру, не то нѣтъ.... И Егоръ какъ-то сразу увялъ, почувствовалъ тоску; постоялъ среди розовѣющаго двора въ нерѣшительности и побрелъ въ людскую. Въ людской было синевато, солнца не было, крѣпко пахло кислыми щами; на лавкѣ возлѣ стола сидѣлъ работникъ Герасимъ, черный грубый мужикъ, прикрѣплялъ кнутъ къ кнутовищу и бранился съ своей

женой, Марьей, примостившейся на нарахъ возлѣ печки, съ ребенкомъ на рукахъ. Егоръ вошелъ, тряхнулъ головой и сѣлъ. На поклонъ ему отвѣтили, но браниться не бросили. Ребенокъ дралъ ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящихъ глазъ съ мужа и не замѣчая попытокъ ребенка, говорила, и Егоръ скоро понялъ, что брань началась изъ-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, изъ-за того, что Герасимъ кому-то далъ эту бритву.

— Свою прежде наживи, — говорила Марья, блестя злыми глазами. — Тогда и давай, когда наживешь. Побирושка, чортъ!

— Я съ тобой никакихъ дѣловъ имѣть не хочу и разговаривать не стану, — твердо и размѣренно отвѣчалъ Герасимъ, раздувая ноздри. — Скандалу не смѣй затѣвать: у людей праздникъ завтра.

— Ротъ ты мнѣ не смѣешь зажать, — говорила Марья со смѣлостью человѣка, сознающаго свою правоту.

— Молчи лучше, — отвѣчалъ Герасимъ, стараясь удержаться на твердомъ тонѣ.

— Не форси, авось тебя не боятся!

— погоди, дѣвка, побоишься! Авось заступниковъ-то немного!

— Чтò жъ, поплачу да спрячу. Пѣшаго сокола и галки дерутъ. Не новость...

Егоръ, привыкшій шататься по чужимъ избамъ и жить чужими жизнями, любившій скандалы, любившій слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдругъ и отъ брани стало нудно ему...

— Чтò-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поѣздку въ Москву,

поѣздку, столь же нелѣпую, какъ и поѣздка Егора, хотя и не столь позорную, такъ какъ Герасимъ ѣздилъ искать мѣста на конкѣ. — Что-й-то скоро появился! Видно, васъ такихъ-то не мало тамъ околачивается!

— Ты лучше, сука, за своимъ дѣломъ смотри, — отвѣтилъ Герасимъ. — Неряха, дура! Ты вонъ какой кулешъ-то сварнакала къ обѣду нонче? Свиньямъ, что ль, мѣсила? Такъ вѣдь тутъ не свиньи обжорныя!

— За мной гаятъ нечего, — отозвалась Марья. — Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди. Въ Москвѣ, говорятъ, все курятъ ѣлъ!

— Гашка не ты, не бродяга, свой домъ имѣетъ.

— Какъ же можно! Хожалая, кто что пожалует!

— Полегче! Тебѣ, дурѣ, да съ Гашкой ровняться! Гашкѣ-то сейчасъ на всякомъ мѣстѣ пять рублей дадутъ, а ты вотъ за полтора, неудѣльная, плужишь...

Егоръ хотѣлъ солгать, какая рѣдкая и дорогая была у него бритва, — и полѣнился, промолчалъ. Онъ поднялся съ мѣста и подумалъ: „А безпримѣнно удавлюсь я! Ну ихъ всѣхъ... куда пода-лѣ!...“ Онъ медленно подошелъ къ Герасиму, закуривавшему цыгарку, потянулся къ нему съ трубкой. Не глядя на него, тотъ подаль почти догорѣвшую спичку. Егоръ, обжигая пальцы, закурилъ и сталъ у двери.

— Гашка-то, небось, чуточку поболѣ твоего работаетъ! — говорилъ Герасимъ, не зная, что сказать.

— Авось и мнѣ за тобой, за чортомъ, не сладко — отвѣчала Марья. — Десять лѣтъ ворочаю!



— А-а! Ишь, актриса какая!

— Однихъ картохъ по три чугуна трескаете!  
Весь животъ на чугунахъ сорвала...

Егоръ не дослушалъ и вышелъ.

Весну и начало лѣта онъ провелъ въ Ланскомъ. Опредѣленность положенія сперва радовала его. Вѣчно думать о томъ, будетъ ли заработокъ, вѣчно шататься, искать этого заработка и, какъ-никакъ, гнуть хрипъ — это уже порядочно надоѣло. А тутъ работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвѣсное идутъ да идутъ... Но и дни шли — и все больше становились похожи другъ на друга, дѣлались все длиннѣе да длиннѣе; нужно было убивать ихъ, а въ лѣсу, въ одиночествѣ какъ ихъ убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечахъ мать-старуха, больная и голодная, Егоръ повадился на барскій дворъ выпрашивать жалованье и отвѣсное впередъ, а, выпросивъ, пропивать и то и другое съ пріятелемъ, гурьевскимъ кузнецомъ. И опредѣленность положенія стала тягостна. Пьянство, похмелье, недоѣданіе разстраивали здоровье. Никогда за всю жизнь не думалъ Егоръ о своихъ недугахъ, но они сказывались. Онъ сталъ чувствовать то же, что чувствовала послѣднее время Анисья: зыбкость во всемъ тѣлѣ, неопредѣленную тревогу, беспорядочность въ мысляхъ. Въ сумерки онъ сталъ плохо видѣть, сталъ бояться приближенія сумерокъ — было жутко въ этомъ молчаливомъ кустарникѣ: всюду, гдѣ рѣялъ вечерній сумракъ, представлялся еле видный, неуловимый въ очертаніяхъ, но оттого еще болѣе страшный, большой сѣроватый чортъ. И чортъ этотъ не спускалъ съ Егора глазъ, поворачивалъ за Егоромъ голову, куда бы ни шелъ Егоръ. И такъ какъ

казалось, что это онъ, чортъ, заставлялъ вспоминать о петлѣ, о переметѣ, о толстыхъ сучьяхъ старой березы въ пшеницѣ, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петлѣ. И Егоръ совсѣмъ забросилъ лѣсъ — сталъ и дневать и ночевать въ Гурьевѣ. На-людяхъ, даже тогда, когда онъ только-что выходилъ изъ этихъ глухихъ степныхъ мѣстъ, буйныхъ хлѣбовъ и кустарника на дорогу въ село, сразу становилось легче.

Вотъ и въ тотъ день, когда шла въ Ланское Анисья, побрелъ Егоръ въ Гурьево. Онъ поздно проснулся, откашлялся, разломался, повеселѣлъ, когда выглянуло изъ-за облаковъ солнце. Покуривъ, онъ почувствовалъ: ѣсть хочется. Отъ ягодъ сильно знобило по вечерамъ, онъ зналъ это. Но ѣсть хотѣлось — и, выйдя изъ избы, онъ долго лазилъ на колѣняхъ по кустамъ, по цвѣтамъ и травамъ, долго ѣлъ землянику и клубнику, иногда очень спѣлую, иногда совсѣмъ зеленую, твердую... Потомъ не спѣша пошелъ въ село.

— Главная вещь — хлѣбушка надо разжиться, — думалъ онъ, выходя изъ лѣса за часъ до того, какъ прійти туда Анисья.

Гдѣ онъ будетъ разживаться, онъ не зналъ, да мало и надѣялся на разживу. Но вѣдь надо же было оправдать свой уходъ изъ лѣса. И впрямь, плохи были его дѣла насчетъ хлѣбушка. „Ну, да плохи, не плохи, авось не околѣю, не первая волку зима!“ — говорилъ онъ себѣ, разлато ступая по дорогѣ новыми лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, съ просторными выгонами, съ двумя мельницами, — водяной

и вѣтрянкой, — стоитъ на рѣкѣ, тонетъ въ цѣлыхъ рощахъ лозняка, осинника, и грачей въ этихъ рощахъ — несмѣтныя тысячи. „Такого села, — говоритъ Егоръ, — ни въ одной Америкѣ не найдешь!“ — Передъ вечеромъ, когда онъ подходилъ къ селу, надъ селомъ прошумѣлъ не долгій, но сильный ливень, какъ видно, не первый за день. Ярko чернѣли дороги среди зеленой муравы по выгону, на которомъ слѣва, возлѣ барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью, возлѣ церкви — новое кирпичное училище, по срединѣ — мірской хлѣбный амбаръ, гамазей, а справа — тяжкій вѣтрякъ и уютный дворъ мельника. Дулъ вѣтеръ, но крылья вѣтряка неподвижно распростирались въ облачномъ небѣ. Всегда сѣрая, они были теперь темны, сыры. Съ крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой муравѣ, сидѣли подъ гамазеемъ въ мокрыхъ зипунахъ.

— Чудеса, — думалъ Егоръ, направляясь къ вѣтряку и обсуждая, какъ всегда, то, что случайно попадаетъ въ голову. — Безперечъ тутъ дождь. Мѣсто привольное, для огородовъ, къ примѣру сказать, — кладъ чистый...

Еще рано было, а уже гнали разбѣгающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селомъ, за рѣчной долиной, какъ разъ противъ училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крышѣ его, на золоченомъ крестѣ церкви, сдѣлало стадо еще пестрѣе и опять потухло, скрылось въ облакахъ. Церковь въ Гурьевѣ грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имѣетъ видъ волостного правленія, вѣтрякъ неуклюжъ, тяжелъ, работаетъ рѣдко. Буднично шумѣли, гамѣли безъ толку грачи въ лознякѣ

по рѣчкѣ. Бѣжало, ревѣло и бляло стадо, пере-  
крикиваясь, гонялись за овцами бабы съ накину-  
тыми на голову подолами... Тамъ, въ Ланскомъ,  
въ караулкѣ безъ крыши, среди глухого кустар-  
ника, цвѣтовъ и бурьяна, умирала замотавшаяся  
до послѣдняго, смиренная мать Егора. А онъ  
стоялъ зачѣмъ-то среди выгона въ Гурьевѣ, ду-  
малъ, чтò попало, ждалъ, пока прогонятъ стадо.  
Стадо прогнали — и онъ долго глядѣлъ на двухъ  
спутанныхъ мокрыхъ лошадей, щипавшихъ траву  
и тяжело перепрыгивавшихъ съ мѣста на мѣсто  
связанными передними ногами. Передвигая трубку  
изъ угла въ уголъ рта, тяжело дыша, кашляя и  
сплевывая, онъ разсѣяннo водилъ глазами по вы-  
гону, мысленно ругалъ дуракомъ церковнаго ста-  
росту, обившаго старую каменную церковь жестью,  
глядѣлъ на гамазей. Прижавшись къ стѣнѣ гама-  
зея, сидѣли на большомъ бѣломъ камнѣ мальчишки  
въ мокрыхъ, рваныхъ zipунахъ. Возлѣ нихъ сто-  
ялъ жеребенокъ — третьякъ. На него капало съ  
крыши: сверху онъ былъ темный, снизу свѣтло-  
рыжій, сухой... Егоръ невесело усмѣхнулся и,  
скользя, развѣзжаясь по грязи лаптями, побрелъ  
къ избѣ мельника.

Какъ всегда, хозяева не обратили на Егора ни-  
какого вниманія. И, какъ всегда, это нисколько  
не смутило его. Онъ перешагнулъ порогъ избы,  
тряхнулъ, въ знакъ привѣта, головой, своимъ гим-  
назическимъ картузомъ, плоско лежавшимъ на бѣ-  
лыхъ кудлахъ, и сѣлъ на нары, сталъ насыпать  
трубку ѣдкой махорочной пылью, вывертывая истер-  
тый кисетъ. Старикъ-мельникъ, по имени Лаврен-  
тій, по прозвищу Шмарокъ, гнулся на лавкѣ возлѣ  
стола, тупо, упершись ладонями въ лавку, глядѣлъ



на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, простѣвавшей надъ столомъ муку. Алена слыветъ въ Гурьевѣ красавицей за свою крѣпость и бѣлое коровье лицо. Шмарокъ, напротивъ того, малъ, лысъ, головасть, безобразенъ. Онъ богатъ, а полушубокъ на немъ рваный, засаленный, темный; рѣзко выдѣляется новый оранжевый рукавъ этого полушубка. Правое ухо Шмарокъ закладываетъ комочкомъ пакли. На тонкой шеѣ его, подъ сѣдой пожелтѣвшей бородкой, чернѣетъ нѣчто въ родѣ галстука — узенькій платочекъ, засаленный еще больше полушубка. Зелено-желтые усы испачканы нюхательнымъ табакомъ. Носъ похожъ на мухоморъ, огромныя открытыя ноздри стали отъ табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, сѣрой пылью сыплющуюся изъ-подъ рѣшета, Шмарокъ равнодушно спросилъ Егора:

— Чтò, ай соскучился въ лѣсу-то?

— Чтò жъ мнѣ скучать, — не спѣша отвѣтилъ Егоръ. — Дѣло есть въ селѣ...

И, сошмыгнувъ съ наръ, подошелъ къ загнеткѣ, открылъ заслонку и по-поясъ залѣзъ въ темную жаркую глубь печки.

— Нуждишка есть, — глухо крикнулъ онъ оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь изъ золы и забивая его въ трубку.

Алена, подсѣвая, ловко хлопая рѣшетомъ въ ладони и тряся широкимъ плоскимъ задомъ, черезъ плечо покосилась на Егора. „Всѣ печки выстудилъ, родимецъ!“ — подумала она. Но Егоръ, хорошо знавшій такія думы, принялъ, выбравшись изъ печки, самый беззаботный видъ. И, затягиваясь, растравляя себѣ ноздри ѣдкимъ запахомъ и жаромъ горящаго осинового угля и съ мучительнымъ

наслажденіемъ кашляя, опять спокойно усѣлся на нарахъ „Ай, уйтить? — думалъ онъ разсѣянно. — Да чортъ съ ними, посижу еще маленько... Жрутъ, жрутъ, по два раза на недѣлю хлѣбы ставятъ и все не облопаются“, — разсѣянно думалъ онъ, глядя то на хлѣбную дежу возлѣ печки, прикрытую старымъ армякомъ, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, въ родѣ крышки гроба, росла на столѣ, то на Алену. Толстыя руки ея, засученныя по-локоть, были запорошены мукою; на пальцахъ блестѣли мѣдныя и серебряныя кольца. Подолъ шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за поясъ, толстыя ноги въ мужицкихъ сапогахъ, чернѣвшихъ подъ сѣрой рубахой, поставила твердо и, немного отвалиясь назадъ, выставляя свой страшный животъ, мѣрно трясла задомъ.

— Хлѣбушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросилъ Егоръ, сплевывая слюну, постоянно набѣгавшую на бѣлесыя отъ голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, дѣвочка лѣтъ четырехъ съ лихорадкой на губахъ и вѣромъ подстриженными на лбу жесткими волосами, все лѣзла, наваливаясь на столъ, пальчикомъ проводя въ мукѣ полоски. Промолчавъ на вопросъ Егора, Алена вдругъ звонко щелкнула дѣвочку въ лобъ ладонью. Дѣвочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алена своимъ грубымъ однодворческимъ голосомъ. — И такъ, какъ чортъ, выгваздалась уся! Погоди, погоди, я табѣ усыплю! Ты що жъ, замолчишь, ай нѣтъ?

— А вотъ я ее ножикомъ сейчасъ зарѣжу, — сказалъ, входя въ избу, Салтыкъ, молодой работникъ, въ овчинной курткѣ и бѣломъ фартукѣ, только-что пріѣхавшій съ поля, гдѣ онъ подкапывалъ опушку обитаго градомъ овса.

И сталъ вѣшать на стѣну, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомутъ съ бѣлыми гужами и недоуздокъ, на блестящихъ удилахъ котораго зеленѣла наѣденная лошадыю травяная пѣна.

Видъ у Салтыка, недавно отбывшаго солдатчину, былъ самодовольный, лицо, въ полубачкахъ, загорѣлое, пріятное и неглупое, грудь широкая, еще не старый солдатскій картузь сдвинутъ на затылокъ. На груди фартука были крупно вышиты красныя буквы. И Егоръ, которому Салтыкъ только кивнулъ слегка, подумалъ:

— Вѣрно, Аленка и вышивала. Да и дѣвчонка, конечно, его. Недаромъ же болтали, что онъ ее еще до солдатчины управился обдергать. Дуракъ Шмарокъ! Я бы съ ей шкуру спустилъ да на пяло растянулъ!

Онъ, сипя, носилъ грудью, показывая въ прорѣху обитаго ворота бурую полосу загара на мертвенно-блѣдномъ тѣлѣ. Блѣдно было и отекавшее лицо его. Онъ былъ тяжело боленъ, но чувствовать себя больнымъ давно вошло въ привычку, онъ не обращалъ на это ни малѣйшаго вниманія. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голоднаго, даже и посмотрѣть внимательно никто не хочетъ. Не испытывалъ онъ и злобы къ Алень, когда думалъ: „я бы ея шкуру на пяло растянулъ“ — хотя растянуть могъ бы. Но глухое раздраженіе не только противъ этого богатаго и скучнаго двора,

но и противъ всѣхъ гурьевцевъ, все-таки сидѣло въ немъ, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работѣ ума, досадно вертѣлось въ головѣ, какъ стертая гайка. Онъ уже давно освоился съ тѣмъ, что часто шли въ немъ сразу два ряда чувствъ и мыслей: одинъ обыденный, простой, а другой — тревожный. болѣзненный. Спокойно, даже самодовольно думая о томъ, что попадется на глаза, что случайно взбредетъ на умъ, часто томился онъ въ это же самое время и тщетнымъ желаніемъ обдумать что-то другое. Онъ завидовалъ порой собакамъ, птицамъ, курамъ: онѣ, небось, никогда ничего не думаютъ! Теперь ему и хотѣлось и не хотѣлось сидѣть у мельника. Да что дѣлать-то, если не сидѣть, куда итти? Въ лѣсъ, въ кустарникъ, въ сумерки, гдѣ всюду мерещится этотъ сѣрый чортъ?

Алена, избѣгая встрѣтиться глазами съ Салтыкомъ, зажгла надъ столомъ висячую лампочку, загорѣвшуюся блѣдно-зеленымъ огнемъ: еще свѣтло было за окнами. Салтыкъ не спѣша досталъ изъ кармана портокъ плисовый кисетъ, не спѣша свернулъ и загнулъ крючокъ, икнулъ и, пропустивъ въ стекло лампочки соломину, закурилъ, сѣлъ на лавку.

— Подсѣвай, подсѣвай, — кинулъ онъ Аленѣ, затыкаясь. — Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря съ Салтыкомъ тѣмъ особымъ, какъ будто грубымъ тономъ, какимъ говорятъ при народѣ только съ любовниками.

Шмарокъ между тѣмъ возился у загнетки: поставилъ таганъ на грудку сучковъ и сталъ поджигать ихъ, поддувать, намѣреваясь что-то стря-



пать. Сучки были сыры, только дымились, и Шмарокъ плакалъ отъ дыма, изъ глазъ его, изъ красныхъ вѣкъ текли слезы.

— Ну, невеселая моя поварская, — бормоталъ онъ.

И, видно, раздумавъ стряпать, сѣлъ на обрубокъ толстаго дубоваго корня возлѣ печки. Изъ-подъ тагана пошелъ молочно-бѣлый дымокъ, покурился и потухъ... Шлепало рѣшето, слышно было, какъ дышать Егоръ и Анютка, дѣлавшая куклу, — на-вертывавшая на стеклянный пузырекъ тряпочки. Салтыкъ глянулъ на Шмарка и усмѣхнулся.

— Кѣхарь ты невеселый, вотъ это я вижу, — сказалъ онъ, далеко сплевывая. — Надо тебѣ каталогъ выписать. Когда я въ Тифлисѣ служилъ, такъ тамъ хозяйкина дочь завсегда выписывала каталогъ, по какому все можно приготовить. Вотъ и ты — пошли въ Москву письмо, вложи въ него марку семь копеекъ и напиши: такъ, молъ, и такъ, выпишите мнѣ всѣхъ возможныхъ каталоговъ.

— И то правда, — отозвался Шмарокъ. — Ты, извѣстно, все знаешь: гдѣ какіе жители, гдѣ какіе города...

Егоръ покосился и подумалъ: „Какіе города! Много онъ, дуракъ, знаетъ, окромя своего Тифлису! Вотъ я бы ему поразсказалъ дѣловъ“... Ему очень захотѣлось спора, въ которомъ онъ вышелъ бы и умнѣе, и толковѣе, и бывалѣе Салтыка. Но намѣреніе попросить хлѣба и еще что-то, чего онъ не могъ опредѣлить, чѣмъ выразилъ онъ когда-то словами: „раздребеженный я какой-то“ — связывало его, всегда смѣлаго и болтливаго, ставило втушикъ — и передъ кѣмъ же! — передъ мужиками, которыхъ онъ даже и сравнивать никогда не хо-

тѣлъ съ печниками, плотниками, малярами! Онъ только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь разсѣяннымъ, сталъ слушать: что-то еще сбредетъ Салтыкъ?

— Какъ же мнѣ не знать! — сказалъ Салтыкъ. — Да я не то что, я, какъ осень, безпремѣнно опять туда! Съ этой жизнью я до-вѣку не разстанусь. Тамъ сейчасъ самая колбня идетъ, — сказалъ онъ, мелькомъ взглянувъ на Алену и усмѣхнувшись. — Да ей-Богу: веселье, гулянье — каждый Божій день, съ восьми утра до двухъ ночи. Особливо въ курсовыхъ, въ Пятигорскѣ, въ Кисловодскѣ, въ Висинтукахъ...

— Значить, скучать не имѣютъ права, — вставилъ Шмарокъ и досталъ изъ кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только тамъ съ деньгами хорошо, — продолжалъ Салтыкъ, не слушая Шмарка. — Безъ денегъ туда лучше и не показывайся. Наконецъ того, водка тамъ ничего не стоитъ. Тамъ каждый грузинъ аграмадный виноградникъ имѣетъ. Везутъ на базаръ въ бочкахъ — такъ и плескается.

— Имѣютъ капиталъ добывать ее, вотъ и плескается, — сказалъ Егоръ. — Авось, и это дѣло знаемъ не хуже твоего, — пробормоталъ онъ, чувствуя, что его опять начинаетъ ломать, знобить, и неотступно думая о полушубкѣ, которымъ онъ совершенно напрасно заткнулъ окно въ караулкѣ вмѣсто того, чтобы надѣть его, догадаться, что къ вечеру послѣ дождя будетъ прохладно.

Но Салтыкъ не обратилъ вниманія и на это замѣчаніе.

— Тамъ, братъ, — говорилъ онъ, неизвѣстно къ кому обращаясь: — какіе бульвары, сады! Садъ князя

Чалыкова на три кавадратныхъ версты тянется! Только изъ одного плохо: погода у насъ куда тверже! А тамъ, ночь пришла — безъ бурки ни шагу: стыдь. А въ горахъ завсегда снѣгъ, круглый годъ не переводится...

— Дуракъ! — подумалъ Егоръ. — Безъ бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знаетъ... Бурка, она, братъ, медвѣжья, идѣ ты могъ ее замѣтить? — неожиданно для самого себя сказалъ онъ вслухъ.

И закрылъ глаза. „Скука теперь въ моемъ блиндажѣ... И напрасно, едрена мать, не взять я полущубка!“ — подумалъ онъ, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловѣющій воздухъ за окнами, въ которыя сѣкъ опять набѣжавшій дождь, и вспоминая однообразный звонъ кустовыхъ овсянокъ, жалостное цоканье чеканокъ. Шлепало рѣшето, дышала Анютка, и мѣрно чередовались два голоса — старческий, крихтящій, и молодой, самодовольный и ладный.

— По горамъ тамъ вездѣ стѣжки продѣланы, — говорилъ Салтыкъ. — Черкесъ какой-нибудь разнесется... летитъ, скачетъ — какъ только голова цѣла! А глянешь на-горы издали — какъ тучи заходятъ. Опять же изъ дѣвокъ не плохо. Тамъ къ дѣвкамъ пойтить — по таксѣ, за всходъ тридцать копеекъ. Ты вотъ старый человекъ, а она тебя можетъ кажная раскипятить.

— Нѣтъ, теперь не гожусь, — отвѣчалъ Шмарокъ, двигая плечами, почесывая ихъ ерзающимъ полущубкомъ. — А раньше я, правда, до дѣвокъ врагъ былъ! Могъ съ ними хорошо обойтись.

Егоръ ухмыльнулся и хотѣлъ — было рассказать, какъ одинъ печникъ бобровымъ стручемъ опоилъ,

отуманилъ, обольстил генеральскую дочь, — разсказать и дать понять, что печникъ этотъ былъ не кто иной, какъ онъ самъ. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучій! — крикнула она на Шмарка тѣмъ притворно-злымъ тономъ, которымъ здоровыя бабы, имѣющія стараго мужа, прикрываютъ свою любовь къ щекотливымъ разговорамъ. — Будя, бастыжій! Старый человѣкъ, а що бреша! Табѣ вонъ на кладбишшу помѣстье давно готова! Двухъ женъ похоронилъ!

— А я чтѣ? — сказалъ Шмарокъ. — Я ничего.

— Народъ тамъ красивый, не униженный, — продолжалъ Салтыкъ. — Есть старики по сту лѣтъ живутъ...

Егоръ и на это хотѣлъ возразить: живутъ-то живутъ, а на кой чортъ, спрашивается?... Но опять его перебили.

— Ну, объ этомъ ты оставь! — сказалъ Шмарокъ. — Взять хоть къ примѣру меня такого-то: живу я семьдесятъ годовъ, шашнадцать человѣкъ своей крови похоронилъ, а прожилъ бы до ста лѣтъ, отъ меня опять пошли бы плоды... Гдѣ жъ тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ѣли бы другъ друга, какъ рыба въ морѣ. Вотъ приходилъ ко мнѣ старикъ съ того боку — сто пять, говорить. А уронилъ шапку — поднять не можетъ.

— Это барскій-то? Какой табѣ! — весело крикнула Алена. — За водой еще самъ ѣздитъ! Скоропостижай дѣдъ!

— Не хуже моей старухи, — сказалъ Егоръ. — Животолюбивая старуха! А я ее—корми. Она, можетъ, ногтя моего не стѣитъ, а я вотъ журишь объ ней...



— А вотъ говорятъ же умные люди, — сказалъ Шмарокъ: — можно, говорятъ, вѣкъ прожить, а какъ умрешь, не будешь причиненъ ни тлѣнію ни прѣнію. Только, говорятъ, не надо разгорячительной пищи ѣсть. Я когда у господъ жилъ, такъ тамъ барчукъ былъ, на доктора учился. Былъ онъ мнѣ дорогой пріятель и, бывало, часто сказывалъ, будто каждый человѣкъ можетъ свое тѣло захолодить и, какъ помретъ, тѣло тлѣть не будетъ, а будетъ въ воздухъ улетучиваться.

— Ну, это зря брешутъ, — возразилъ Салтыкъ.

— Книги, значить, доказываютъ.

— Книги! — ухмыльнулся Салтыкъ. — Ни жъ можно съ холодной кровью жить? Сообрази своей долбегой-то!

Егоръ, обиженный равнодушіемъ, какимъ встрѣчено было его замѣчаніе о матери, опять вмѣшался и на этотъ разъ уже совѣмъ смѣло.

— А рыба? — спросилъ онъ. — Можетъ же она съ холодной кровью жить и распложаться? Кто жъ долбега-то выходитъ?

Салтыкъ повернулъ къ нему голову.

— Та-акъ! — сказалъ онъ насмѣшливо.

И вдругъ рѣшительно заговорилъ:

— Рыба! Да ты погляди, какъ она, рыба-то, ныряетъ, козлекаетъ въ водѣ! Ухитришься ты такъ-то? Поди въ Елецъ, сигни съ моста въ Сѣсню — нырнешь ты такъ-то, какъ она? Ты вонъ мелешь — она съ холодной кровью, а выложи ее на берегъ: улетучится она, ай нѣтъ? Никуды она не можетъ улетучиться!

— Ну, и вышелъ дуракъ, — началъ-было Шмарокъ.

Но Егоръ внезапно разгорячился.

— А я такъ скажу, — перебилъ онъ Шмарка, совѣмъ забывъ, кому надо возражать: — а я тебѣ скажу, что нашему брату, рабочему человѣку, нельзя безъ горячей пищи! Ты вонъ мурло наѣлъ, тебѣ хорошо брехать! А я безъ пищи захворать могу! Я, можетъ, кабы сытъ-то былъ... Что жъ онъ, барчукъ-то энтотъ, пузо его тресни, своего-то тѣла не заморилъ, не заохолодилъ?

— А много ты ее, горячей пищи-то, ѣлъ? — крикнулъ Салтыкъ насмѣшливо.

— Ну, и вышли дураки! — закричалъ и Шмарокъ, поднимаясь. — Терпѣнья у насъ не хватаетъ, вотъ и не заохолодилъ! А вы гляньте, какъ святыето, угодники-то, какіе Богу-то угрожали, да не ѣли, не пили, какъ они-то дѣлали? Какъ Ларивонъ-то святой дѣлалъ? Могъ же онъ три года одной рѣдкой питаться?

— Значить, по-твоему выходитъ, и моя старуха святая будетъ? — крикнулъ и Егоръ, выхватывая трубку изъ рта. — Она вонъ тоже не ѣстъ, не пьетъ... У насъ вонъ даже и рѣдки твоей нѣту...

— Постоите, — сказалъ Салтыкъ: — погодите лапить-то!

И, обернувшись къ Шмарку, неожиданно принялъ сторону Егора:

— Значить, и мы съ тобой могли бы святыми исдѣлаться? Охолодили бы свое тѣло, налопались рѣдки, да и вся недолга?

— Да будя вамъ брехать-то! — громче всѣхъ закричала Алена, бросая рѣшето: — Гѣлманы!

— Да и правда! — подхватилъ Шмарокъ. — Что буровите? Бога-то попомните! Онъ, братъ, за такія рѣчи не спускаетъ намъ, дуракамъ!

— Я Ему вреды никакой не дѣлаю, — отвѣтилъ Салтыкъ серьезно. — Кто зачалъ лапоть-то? Не ты, что ль?

И смолкъ. Смолкли и Шмарокъ съ Егоромъ, волнуясь и не зная, что сказать. Алена съ нахмуреннымъ лицомъ подошла къ нарамъ и, косясь на утирку, на которой сидѣлъ Егоръ, дернула ее и злобно крикнула:

— Пусти-ка-ся! Усѣлся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота, — возразилъ Егоръ: — я и самъ свою время знаю. Ужинъ твой мнѣ безъ надобности, а балакать ты мнѣ не можешь запретить. Вотъ посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошелъ, вечернее небо очистилось, въ селѣ было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувають огня лѣтомъ, ужинають передъ избами, на камняхъ, въ полусвѣтѣ зари. Выйдя отъ мельника, Егоръ остановился, даже спросилъ себя: не вернуться ли въ Ланское? — и повернулъ въ село, въ ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору надъ рѣчкой. Въ полусвѣтѣ зари, вокругъ камней у пороговъ сидѣлъ народъ безъ шапокъ, хлебая изъ деревянныхъ чашекъ — кто тюрю, кто молоко. Но Егоръ, проходя мимо и косясь, плохо различалъ даже лица ужинающихъ: въ глазахъ его рябило, по тѣлу проходилъ ознобъ, въ мысляхъ была тревожная беспорядочность. Очень хотѣлось ему обдумать то, о чемъ спорили у мельника: всѣ чепуху говорили тамъ, одинъ онъ могъ бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мѣшали разобраться въ мысляхъ. Очень хотѣлось рѣши ты еще что-то — неотложное, самое что ни

на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Но шелъ онъ точно по воздуху. Тифлисъ мѣшался въ головѣ его съ рыбой, Салтыкъ съ Анисей, вопросъ о томъ, можно ли ничего не ѣсть и захолодить свое тѣло, нельзя было рѣшить потому, что не давала покоя злоба противъ Алены, ея широкаго зада и однодворческаго говора. И Егоръ торопливо шелъ по улицѣ, боясь, что не останется онъ кузнеца дома, что кузнецъ ляжетъ спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника всѣ чепуху говорили... Но кузнецъ былъ дома.

Кузнецъ былъ горькій пьяница и тоже полагалъ, что умнѣй его во всемъ селѣ нѣтъ, что и пьетъ-то онъ по причинѣ своего ума. Развѣ ему кузнецомъ бы быть! Онъ всю жизнь не могъ примириться со своей долей, люто презиралъ село и холодно-золь бывалъ въ трезвомъ видѣ, свирѣпъ становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подрядъ. Онъ ходилъ тогда съ колеснымъ ключомъ въ рукѣ, затѣвалъ скандалы съ каждымъ встрѣчнымъ, гоготалъ подъ окномъ лавочника, пѣвшаго по праздникамъ въ церкви, вызывая его на состязаніе въ пѣніи. А не то шелъ въ училище экзаменовать мальчишекъ по Закону Божію и грозилъ учительницѣ на мѣстѣ убить ее ключомъ за единую ошибку. Съ похмелья онъ бывалъ угнетенъ. Въ такомъ положеніи и засталъ его Егоръ.

Онъ сидѣлъ возлѣ кузни, на косогорѣ надъ рѣчкой, надъ плесомъ, противъ водяной мельницы. Слабо алѣлъ закатъ за нею, тамъ, гдѣ сходилъ съ темной землей прозрачно-зеленоватый небосклонъ. Еще свѣтло было надъ плесомъ, сталью лежавшимъ по лугу. Но тотъ берегъ, гдѣ мельница,



былъ уже совѣтъ темень: только по отраженіямъ въ плесѣ можно было догадаться, что тамъ деревья. И, сидя, возлѣ кузни, поставивъ локти на колѣни, думалъ кузнецъ о томъ, какъ глупы были наши генералы во время войны съ японцами. Вотъ, напримѣръ, въ такой вечеръ... что стоило японцамъ вплотную подойти къ нашимъ войскамъ? Небось, генералы-то наши, умники-то эти, глядѣли въ свои подзорныя трубы за рѣчку, на берегъ, въ темноту, гдѣ ничего не видно, когда надо было глядѣть вовсе не туда, а въ рѣку, гдѣ отражается каждое дерево и всѣ свѣтлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнецъ немедля высказалъ Егору, какъ только тотъ подошелъ и, поздоровавшись, сѣлъ на косогоръ рядомъ съ нимъ. А Егоръ, обрадовавшись, что у кузнеца есть табакъ, что кузнецъ съ похмелья и думаетъ, значитъ, вовсе не о генералахъ, поглядывалъ по сторонамъ, кашлялъ и ждалъ, когда наконецъ додумаетъ кузнецъ свою думу. Какъ и у Егора, мертвенно было тѣло у кузнеца, рубаху котораго все заворачивалъ сзади вѣтеръ, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, въ мелкихъ дырочкахъ. Былъ и кузнецъ лохматъ, но не такъ, какъ Егоръ, какъ мужикъ, а такъ, какъ бываютъ лохматы мастеровые, рабочіе. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болѣзненно перекошены брови и блестящи глаза. Дулъ вѣтерокъ, темнѣвшая рѣка зарябилась; кузнеца трясло. Но вдругъ онъ всталъ и, наступая сапогомъ на сапогъ, началъ быстро разуваться, раздѣваться.

— Ай ты очумѣлъ? — крикнулъ Егоръ, со страхомъ глядя на тощее, мѣловое тѣло, забѣлѣвшее

въ полусвѣтѣ зари, когда кузнецъ, взъерошивъ волосы, сдернулъ съ себя рубаху. — Ай ты очумѣлъ? Да у тебя сердце зайдетъ въ водѣ въ такую стыдь!

— Вона! — крикнулъ кузнецъ хриплымъ басомъ.

И вдругъ загоготалъ, скинувъ штаны вмѣстѣ съ подштаниками и разбѣгаясь, чтобы шаркнуть въ воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Онъ хорошо зналъ, что ледяная вода мгновенно дастъ ему рѣшительность, находчивость. Въ водѣ, и впрямь, зашло у него сердце, но онъ не далъ ему поблажки: онъ фыркалъ, нырялъ, плавалъ... Не попадая зубъ на зубъ, выскочилъ онъ на берегъ, неловко и торопливо натянулъ штаны на мокрое тѣло, влѣзъ въ рубаху и, влѣзая, твердо сказалъ Егору, что околѣвать онъ не намѣренъ, что его душа дороже колесъ. А какихъ колесъ — этого Егору не надо было пояснять: онъ мгновенно сообразилъ, что лежатъ у кузнеца чьи-то колеса, присланные въ починку, и что надо какъ ни можно скорѣе захватить передки и опять бѣжать къ мельнику, тайкомъ торгующему водкой. И не прошло и получаса, какъ уже сидѣлъ Егоръ съ кузнецомъ въ кузнѣ, возлѣ маленькой жестяной лампочки, поставленной на горнѣ, рядомъ съ бутылкой и горшочкомъ холодной пшенной каши, за оживленной бесѣдой о томъ, можно ли, питаясь одной рѣдькой, попасть во святые, можно ли заохолодить свое тѣло, чтобы не тлѣло оно послѣ смерти...

А во второмъ часу ночи, при заходящемъ за тускло блестящими хлѣбами мѣсяцѣ, Егоръ, шатаясь и размахивая руками, быстро входилъ въ

Ланское. Не чувствовалъ онъ теперь ни тревоги, ни скуки, ни раздребезженности. Точно упругія волны несли его блаженно-ошальввшее тѣло. Роса серебрилась по мокрымъ, пахучимъ, густымъ цвѣтамъ и травамъ. Сильнѣй всего пахло любимымъ растеніемъ Егора — полынью. Длинно темнѣли тѣни отъ кустарниковъ, блестящихъ верхушками подъ опускающимся къ югу мѣсяцемъ. И полосы свѣта и тѣней среди нихъ создавали что-то сказочное для пьяныхъ глазъ, сказочно-свѣтла была далекая даль за кустарниками, за полями, надъ которыми уже дрожала въ серебристой прозрачности большая, розово-золотая звѣзда. Шурша по росистымъ лопухамъ и напѣвая, смѣло подошелъ Егоръ къ двери, дернулъ за скобку — и остановился на порогѣ своей крохотной, чуть свѣтлой избы. Мертвое молчаніе стило во всемъ мірѣ въ этотъ предразсвѣтный часъ. Мертвое молчаніе наполняло и караулку. И въ этомъ молчаніи, въ сонномъ полусвѣтѣ, недвижно чернѣло что-то на лавкѣ подъ святыми. И, приглядѣвшись, Егоръ вдругъ закричалъ такимъ страшнымъ сильнымъ голосомъ, что съ шумомъ выскочила изъ лопуховъ старая черно-сѣдая собака...

### III

Гурьевъ подарилъ на похороны красную бумажку. И похороны, неожиданно для всѣхъ, вышли отличныя. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисѣ въ пору.

Медленно, съ большими промежутками, начинаясь звонко, жалобно и все строже, падали звуки съ колокольни. Паденіе это внезапно, нестройно обры-

валось терціей баса и альты. И наступало долгое молчаніе: слышалось только, — изъ-за ракичь по дорогѣ въ Ланское, — протяжное, все приближающееся церковное пѣніе: на дорогѣ встрѣтили попъ и дьяконъ телѣгу, въ которой везли Анисью изъ Ланского. Со двора усадьбы и по улицѣ надъ косогоромъ бѣжали на выгонъ бабы. Съ ребенкомъ на рукахъ, спотыкаясь, спѣшила Марья. Стояли на порогѣ мельникъ безъ шапки и мельничиха. Дулъ западный вѣтеръ, а изъ-за рѣчки опять заходила, опять тускло синѣла дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракичами на выѣздѣ изъ Гурьева. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецомъ въ черной тяжелой поддевкѣ, который несъ на головѣ длинную крышку гроба и на ходу мрачно пѣлъ, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачномъ небѣ. Бѣлѣлъ коленкоръ, что накинуть былъ на крышку, и развѣвался по вѣтру. Шли съ ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темныя фигуры со спутанными отъ вѣтра волосами тащатъ на полотенцахъ длинный ящикъ, черный, съ оранжевымъ ободкомъ по краямъ. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Какъ всегда, медлили въ пути, оставались, махали кадиломъ и, пугая самихъ себя словами, повторяли одно и то же — то зловѣще, то съ покорностью. Все дѣлалось такъ, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это дѣлалось, и теперь была такъ же смиренна, проста, какъ и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ея высохшая головка, покрытая новымъ чернымъ платочкомъ. На груди ея желтѣлъ деревянный образокъ. Парча покрывала до половины мелкій черный ящикъ, гдѣ она покоилась, — парча,



знакъ царственности. И парча эта была такъ ветха, такъ грязна и дырява: Боже, сколькихъ уже покрыла она! Дьяконъ гурьевскій, сѣро-сѣдой чело-вѣкъ, тревожно думающій лишь о пасѣкѣ своей, всѣмъ своимъ гнутымъ станомъ и короткимъ, но широкимъ лицомъ похожъ на звѣря. Желтоволосый попъ, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявить. Ризы, епитрахили ихъ такъ истре-паны, что серебряное шитье виситъ длинными бѣ-лесыми волосами. Рукава, подолы, калоши — все въ полномъ соотвѣтствіи съ грязными или пыль-ными дорогами, съ телѣгами и мелкой, навозной соломой въ телѣгахъ.

И на выгонѣ, гдѣ паслось барское стадо, попъ не выдержалъ торжественности: началъ спѣшить, бор-мотать, поглядывать на барскаго быка: быкъ этотъ брухается, закаталъ недавно пастушонка. Погля-дывалъ попъ и на сторожку у церковной ограды: на крыльцѣ сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а въ плетушкѣ той были „поповскіе харчи“: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денегъ. И торопливо провелъ попъ тѣснив-шуюся толпу въ церковныя ворота. Вѣтеръ развѣ-валъ тонкіе русые волосы, шеи несущихъ гробъ были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всѣхъ старался казаться озабоченнымъ Егоръ, шедшій съ полотенцемъ черезъ плечо въ возглавіи гроба.

А въ церкви всѣ немного оробѣли. Притихли — и слышалось только шарканье, топотъ: осторожно опускали гробъ на полъ. Высвобождая изъ-подъ рясы мягкія, трясущіяся, меленькія, какъ у всѣхъ алкоголиковъ, руки, роздалъ попъ короткія, тонкія

свѣчи, дробя ярко и золотисто пылающій пукъ ихъ. И, раздавъ, громко и привычно возгласилъ. И замелькали сложенные въ щепотки пальцы, кланяющіяся и встряхивающіяся головы. Крѣпко крестились старухи, воздѣвая глаза къ иконостасу. Блистали разсѣянные по толпѣ огоньки, возносилось, гремѣло кадило. Кадили, обходя большими шагами гробъ, кланялись Анисѣ, быстро говорили на торжественномъ языкѣ, давно забытомъ ея нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пѣли, выражая умиленіе, что равна теперь она царямъ и владыкамъ, выражая надежду, что упокоится она со духи праведныхъ. Но уже не слыхала Анисья этихъ утѣшеній. Ни кровинки не было въ ея поблѣвшемъ, голубоватомъ лицѣ. Закрылось лиловое вѣко ея праваго глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкія губы. И ледяной лобъ ея уже былъ увѣнчанъ вѣнцомъ высшей славы — золоченой бумажкой. И въ сиво-восковой, прозрачной рукѣ ея, въ скрюченныхъ пальцахъ, подъ ногтями которыхъ точками темнѣла мертвая кровь, уже торчалъ отпущекъ — съ лица земли...

Егоръ, глядя въ гробъ, крестился размашисто и часто. Онъ игралъ ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Онъ моргалъ, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свѣчку, крѣпко зажатую въ его култышкѣ. Но далеко были его мысли и, какъ всегда, въ два ряда шли онѣ. Смутно думалъ онъ о томъ, что вотъ жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсѣмъ свободная. Думалъ и о томъ, какъ будетъ онъ обѣдать на могилѣ — не спѣша и съ толкомъ...

Такъ и сдѣлалъ онъ, засыпавъ мать землею:

ѣлъ и пилъ до отвалу. А подъ вечеръ, тутъ же, у могилы, плясалъ, всѣмъ на потѣху, — нелѣпо вывертывалъ лапти, бросалъ картузъ на земь и хихикалъ, ломалъ дурака; и напился такъ жестоко, что чуть не скончался: даже оттирали уши ему. Пилъ онъ и на другой день и на третій... Потомъ снова наступили въ жизни его будни.

Эти будни были ужъ не тѣ, что прежде. Постарѣлъ онъ и поддался — въ одинъ мѣсяцъ. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее въ него послѣ смерти матери. Пока жива была она, моложе казался онъ самъ себѣ, чѣмъ-то еще связанъ былъ, кого-то имѣлъ за спиной. Умерла мать — онъ изъ сына Анисьи сталъ просто Егоромъ. И земля — вся земля — какъ будто опустѣла. И безъ словъ сказалъ ему кто-то: ну, такъ какъ же, а?

Онъ не думалъ объ этомъ вопросѣ, — только чувствовалъ его. И ничего особеннаго не замѣтили на лицѣ его тѣ мальчишки изъ Пажени, съ которыми ночевалъ онъ въ ночномъ подѣ четвертый день августа, верстахъ въ трехъ отъ Пажени, у откоса желѣзной дороги. Онъ только внезапно проснулся на разсвѣтѣ и вдругъ сѣлъ, поблѣднѣвъ.

— Что ты, дядя Егоръ? — испуганно крикнулъ мальчишка, лежавшій съ нимъ рядомъ.

Егоръ, блѣдный, слабо улыбнулся.

— Такъ... померещилось, — пробормоталъ онъ. — Вотъ исторія-то... Сидитъ будто — и лупится... И опять прилегъ.

Было еще рано. Шелъ туманный, предосенній дождь надъ опустѣвшими полями. Егоръ лежалъ, прикрывшись полушубкомъ, курилъ и, кашляя, медленно рассказывалъ проснувшимся мальчишкамъ,

какъ онъ, не боясь никакихъ судовъ, бросилъ свое мѣсто, ушелъ изъ Ланского. Рассказывая, онъ къ каждому слову прибавлялъ матерное слово. А рассказавъ, сталъ прислушиваться къ приближающемуся шуму товарнаго поѣзда. Шумъ росъ и близился все грознѣе и поспѣшнѣй. Егоръ спокойно слушалъ. И вдругъ сорвался съ мѣста, вскочилъ наверхъ, по откосу, вскинувъ рванный полушубокъ на голову, и плечомъ метнулся подъ громаду паровоза. Паровозъ толкнулъ его легонько въ щеку. И Егоръ волчкомъ перевернулся, головой полетѣлъ на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда, потрясши землю, оглушая, пронесся поѣздъ, увидали мальчишки, что барахтается, бьется возлѣ рельсовъ что-то ужасающее. Въ песокъ билось то, что было за мгновенье передъ тѣмъ Егоромъ, билось, поливая песокъ кровью, вскидывая кверху два толстыхъ обрубка — двѣ ноги, ужасающихъ своей короткостью. Двѣ другихъ ноги, опутанныхъ окровавленными онучами, въ лаптяхъ, лежали на шпалахъ. А по пустому, осеннему полю, въ туманѣ мелкаго дождя, уже тревожно кричалъ подвѣтеръ, къ слѣдующей будкѣ, мѣдный рожокъ выскочившаго изъ ближней будки сторожа...

Такъ разнo кончили свои дни хозяйка и хозяинъ „веселаго“ двора въ Пажени.





Напечатано и издано  
Издательствомъ  
«СЛОВО», Берлинъ







519768

LR Bunin, Ivan Alekseevich  
B9423kr Крикъ.

[Transliterated: Krik.]

# University of Toronto Library

DO NOT  
REMOVE  
THE  
CARD  
FROM  
THIS  
POCKET

Acme Library Card Pocket  
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

